

## «МОЯ КНИГА»

- Книги для детей и взрослых
- Канцелярия в ассортименте
- Подарочные издания, сувениры
- Краеведение, ретрооткрытки
- Наборы для детского творчества
- Развивающие игры

Мы ждём вас по адресам:

ул. Советская, д. 11  
тел. 8-900-495-79-35  
ул. Ореховая, д. 7  
тел. 8 (4752) 58-31-61

## Друзья!

Торговое предприятие «Моя книга» сегодня единственное в нашем регионе, которое реализует не только книги местных авторов, но и живописные работы как начинающих, так и маститых художников. Кроме того, книжный магазин поддерживает по своему уникальное издание — «Рассказ-газету», которую можно приобрести только здесь, причём совершенно бесплатно. Газета рассчитана на широкий круг читателей, но при этом она развивает художественный вкус, знакомит с новыми произведениями писателей, краеведов, культурологов, чьё творчество так или иначе связано с Тамбовщиной.



www.m-kniga68.ru

# Рассказ- газета

№ 14 2019 год

Издаётся с 1991 года



Фото братьев Ладгиных. Из коллекции Дмитрия Гнатюка.

## ПОЭТ НЕНАСТУПИВШЕЙ ЭРЫ

### 100 лет Николаю Глазкову

Но я пророк. Но я поэт,  
Хочу, чтоб было небывало.

Н.Глазков  
1943

Но если путь к иным победам  
Я предпочту иным дорогам,  
Тогда не буду я поэтом,  
Тогда не буду я пророком.

Я обрету людей степенность,  
Я принесу немало пользы,  
Меня признает современность,  
Но обо мне забудут после.

Н.Глазков  
1944

В 1939 году двадцатилетние студенты литературного факультета Московского пединститута Николай Глазков и Юлиан Долгин, последователи русского авангарда, придумали новое направление - «небывализм». Вместе с еще несколькими студентами-поэтами собрали рукописный альманах, начали выступать. В ответ получили проработку по всем линиям, вплоть до исключения Глазкова из института. Возможно, путь Глазкова в поэзии сложился бы совсем иначе. Молодой поэт декларировал поначалу близость к самым радикальным поискам авангарда. Но почти двадцать лет писания в стол, невозможность представлять свои творения публично изменили характер

письма Глазкова. Он уходит от прямого абсурдизма и заумности к иронической парадоксальности, от пафосности пророка к иносказательности клоунады (программное стихотворение 1968 года «Гимн клоуну»). Мотив юродивого, шута, клоуна возникает в стихах Глазкова уже на раннем этапе непечатанья. Я лучший после Маяковского Поэт эпохи, а она Глупее, чем жена Чайковского, Не понимает ни хрена...

Это из поэмы 1945 года «Лида». Из контекста понятно, что речь идет о женщине, но в то же время идет игра-тяжба с эпохой! Стихотворение 1946 года «Боярыня Морозова» с невероятным сопоставлением сюжета картины Василия Сурикова с личным сюжетом расставания с женщиной (поэт именуется здесь «юродивым Поэтограда») заканчивается удивительной строфой, которую можно поставить эпиграфом ко всему творчеству гениального Глазкова, как он сам себя именовал то ли в шутку, то ли всерьез:  
У меня костёр нетленной веры,  
И на нём сгорают все грехи.  
Я, поэт ненаступившей эры,  
Лучше всех пишу свои стихи.

И, может быть, ненаступившая эра наступает!

Сергей БИРЮКОВ

**Евгений Евтушенко:** «Когда мне впервые попали в руки стихи Глазкова, то я буквально бредил его строчками, сразу запомнившимися наизусть, — так покоряюще они входили в душу. В них было то чудо естественности, когда прочтенное тобой немедленно становится частью тебя самого, и уже навсегда».

# Мой Глазков

Вопрос о любимом писателе уместен, пожалуй, только в начальной школе. С годами начинаешь относиться к писателям как к городам: в одних бываешь проездом, в других задерживаешься, иные не хочется покидать... Есть города, где чувствуешь себя как дома, куда постоянно возвращаешься на протяжении многих лет, и где в местах, знакомых наизусть, ждут тебя старые друзья и новые открытия. Таким городом для Николая Ивановича Глазкова стал Тамбов. Таким писателем для Владимира Середы стал Глазков. Почему? Сегодня он рассказывает об этом.

— Кто для вас Глазков в первую очередь: поэт или гражданин?

— На вопрос о соотношении того и другого уже ответили Некрасов: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», Есенин: «Тот поэт, врагов кто губит...», Евтушенко: «Поэт в России — больше, чем поэт...» и, скорее всего, все российские поэты, если не в стихах, то в собственных мыслях. Не исключение и Николай Глазков:

Поэтом стать мне удалось,  
Быть человеком удавалось.

Где провести эту грань? В первую очередь Глазков для меня Человек, Поэт и Гражданин.

— Чем, по Вашему мнению, привлекал Глазкова Тамбов?

— Мы легко можем найти ответ на этот вопрос у самого Глазкова, например, в стихотворении «Москва — Тамбов»:

Там сильно чувствуется Русь,  
Сильней, чем где-нибудь ещё!..  
Лишь этим объяснить берусь,  
Что мне в Тамбове хорошо!

А в стихотворении «Старый Тамбов» Глазков писал:

И, вероятно, каждый дом  
Здесь не вершина зодчества,  
Но что-то есть такое в нём  
От мастерства и творчества,  
И от того, что величать  
Советует фантазия,  
Лежит на домиках печать:  
Печать своеобразия!..

И всё же приезжал он не к тамбовским домам, а к их обитателям — «тамбовчанам-молодчанам» и «тамбовцам-стихотворцам», к своим друзьям и единомышленникам. Дружба эта крепла с каждым его новым приездом в наш город, а память о ней хранится до сих пор. Об этом я напишу в своей книге «Тамбовский Поэтоград Николая Ивановича», которая выйдет в этом году. Я так думаю.

— Проявилось ли влияние, которое оказывал Глазков на литературную (и в целом культурную) жизнь Тамбова?

— Валентина Тихоновна Дорожкина в статье о Глазкове в «Тамбовской энциклопедии» пишет: «Оказал значительное влияние на творческую судьбу М. Румянцевой, Н. Кузьминова, А. Куприна». Осмелюсь утверждать,

что не только на них. Он оказывал влияние на всех: на коллег и людей, с литературой не связанных, на старых и юных, на образованных и не очень. Своей необычностью, непредсказуемостью, непосредственностью, парадоксальностью мыслей в стихах, прозе, в поступках. Очень многие оставили о нём свои воспоминания — разные, часто противоречивые, но читать их всегда интересно. Работая над книгой о Глазкове, я попросил ныне здравствующих свидетелей его пребывания на земле написать о нём воспоминания. Самым юным из них сейчас под семьдесят. Некоторые встречались с ним только один раз в течение нескольких минут. Написали! Один из авторов так и навал своё сочинение — «Шапочное знакомство». В вашей жизни много было людей, которых вы видели в течение нескольких минут и через пятьдесят лет готовы были написать о них воспоминания? Он был мотором, очень быстро становился центром любого сообщества, скромно стоя в сторонке. Как сказал о нём Борис Слуцкий, «шумный, как перемена в школе, тихий, как контрольная в классе». Во время его пребывания в Тамбове наши поэты взбодрились, наполнялись энергией и выплёскивали её на своих читателей и слушателей. Писал тамбовским друзьям: «Если Саша Стрыгин не пригласит меня на “День Поэзии”, то ваш день превратится в ночь!» И это была не совсем шутка!

— «Надо быть очень умным, чтоб сыграть дурака» — насколько серьёзно следует воспринимать эти строки Глазкова?

— Насколько сможете. Могу предположить, что для Глазкова это был способ самозащиты и самосохранения. Человек, у которого отец лежит на Бутовском полигоне, брат и друзья в безымянных военных могилах, а другие сидят по лагерям, вряд ли стал бы шутить по этому поводу.

— Как вы относитесь к идее издания полного собрания сочинений Глазкова?

— Отрицательно. Собратья по цеху Глазкова часто и не без основания упрекали его в том, что к своим произведениям он относился как к рабам, частенько брал старое стихотворение и переделывал его, что-то менял, вставлял новые строчки и четверостишия. Какое из них помещать в ПСС? «Старое» или «новое»? Приходилось ему скрепя сердце вставлять в готовящиеся к изданию сборники «толкачи» и «паровозики» в духе «спасибо партии родной за любовь и ласку», без которых издание книги в силу предрассудков того времени было невозможно. А его всё равно резали. Для подготовки собрания сочинений нужно знать историю каждого стихотворения и отношение самого автора к тому, что он написал, и к тому, как его отредактировали в своё время. Так что этот вопрос не по адресу. К тому же на него ответил сам поэт:

Если гениальным и великим  
Буду признан я официально,  
Обо мне тогда напишут книги,  
Станет мне отрадно и печально.

Почему отрадно? Вероятно,  
Ясно всем, и объяснять не стоит.  
Почему печально? Непонятно.  
Объяснение самое простое —

Хорошо издать стихотворенья,  
Повести, рассказы, репортажи...  
Но ведь издадут и заявленья,  
Письма, дневники, записки даже!

Всё, что скажу, объявят важным,  
Для печати самым неотложным —  
И в огромном хаосе тиражном  
Совместят великое с ничтожным!

В работе над книгой о Глазкове я постоянно держу в голове это стихотворение как предостережение Николая Ивановича от моих возможных ошибок.

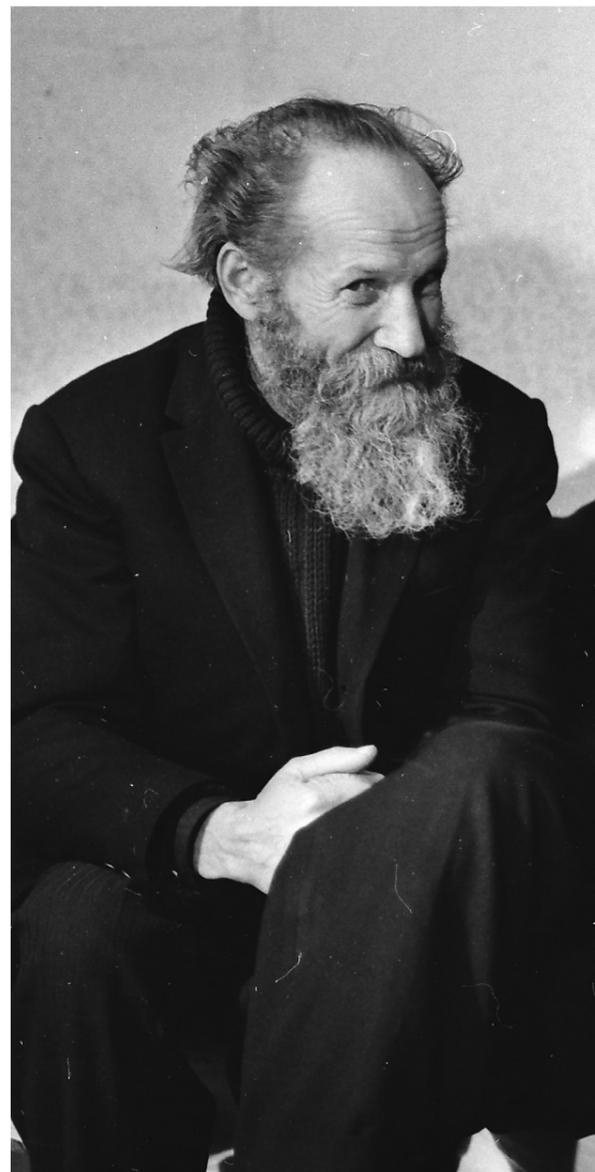
Великий путешественник, Николай Иванович Глазков свои впечатления излагал в стихах и прозе. Они актуальны прежде всего в тех местах, о которых он писал. Его мечта и его планы издать сборник «Любимому Тамбову» не осуществились при его жизни. Не удалось это сделать и его тамбовским друзьям. Дерзну предположить, что мне это удастся, тем более что половину работу по подготовке сборника Николай Иванович успел сделать сам. Может быть, моему примеру последуют и уважаемые якуты и издадут своего Улуу Харахтырова — Великого Глазкова.

Что касается масштабов страны, то два последних поколения родились и выросли без Глазкова, и это печально. Срочно нужен многотиражный двухтомник объёмом в тысячу страниц.

— С кем из «тамбовцев-стихотворцев» у Николая Ивановича сложились наиболее тёплые отношения?

— На этот вопрос очень легко ответить. Со всеми! Он дружил с Иваном Кучиным, Семёном Милосердовым, Сергеем Головановым, Александром Стрыгиным, Никифором Ульевым, Георгием Ремизовым и многими другими поэтами, прозаиками, журналистами, художниками, педагогами, врачами и медсёстрами. И всё же можно выделить человека, к которому поэт относился с особым пиететом, как к старшему товарищу, во многом учителю. Это его тёзка — Николай Иванович Ладугин. Среди стихов, адресованных тамбовцам, больше всего тех, которые Глазков посвятил Ладугину и Н. А. Никифорову. При этом Никифорову адресовались главным образом стихи шутливые, сатирические — дружеские экспромты. В стихах же, обращённых к Ладугину, в каждой строке проявляется уважение и признание всех его талантов. С большим уважением относился Глазков и к Майе Александровне Румянцевой. А о её отношении к нему можно судить по дневниковым записям Никифорова. 3 октября 1979 года он написал: пришла телеграмма о смерти Коли, еду на похороны. Был у Майи, но сказать ей об этом не смог.

— Есенин говорил, что его биография — в его стихах. Насколько это справедливо по отношению к Глазкову?



Три Николая: Ладугин, Никифоров, Глазков. 1967 год.

— Настолько же, насколько эти слова были справедливы для Сергея Александровича Есенина и для многих и многих русских поэтов, прозаиков и художников. XX век был слишком насыщен событиями, трагедиями, войнами и революциями, которые не могли не коснуться биографии каждого русского человека. А если человек честен и талантлив, то реальная действительность не может не повлиять на его творчество. Да! Биография Глазкова — в его стихах. Этому способствовал и образ жизни поэта. Не сидел он на одном месте! Города, события, встречи с людьми — всё это тут же находило отражение в стихах. Полёт Германа Степановича Титова, например, застал Глазкова в Тамбове. В тот же день было написано стихотворение, а на следующий день оно было опубликовано в «Комсомольском знамени».

— Некоторые говорят о пророческой миссии Глазкова. Как Вы к этому относитесь?

— Спокойно отношусь. Здесь надо договориться о терминах. Изначально пророками называли людей, которые проповедовали Слово, то есть были компетентны и полномочны. Если вы признаёте Глазкова компетентным и полномочным, — для вас он пророк. Для меня — пророк.

— Можно ли поставить творчество Глазкова в один ряд с наиболее знаменитыми «шестидесятниками»?

— Зачем? Никуда его ставить не надо! Он не Евтушенко, не Вознесенский, не Окуджава, не Ахмадулина. Он Глазков! Он старше, и, соответственно, раньше началось его творчество, ещё до войны. Он более критично относился к «окружающей его действительности», чем многие шестидесятники. Евтушенко с чувством



ТДЛ, г. Тамбов, улица Тельмана, дом 3. Фото братьев Ладыгиных. Из коллекции Дмитрия Гнатюка.

глубокого удовлетворения и радости писал в конце 1960-х о своём герое: «... двадцатый съезд вручил мне партбилет в уже слабеющую руку». Глазков писал 25 декабря 1961 года в Тамбов: «К сожалению, большими тиражами издают дерьматусовскую ошань, которая к поэзии никакого отношения не имеет, если не считать, что она поэзии противопоказана. Рифмованные передовицы осточертели всем и в первую очередь издательским, газетным и журнальным работникам. Однако оные работники, а особенно стоящие над ними начальники, почему-то считают, что песен слащавых фальшивая муть необходима народу!.. Я сам народ, и мне этой мути не надо!» Страна выходила из мути очень тяжело и медленно. Глазков также тяжело, но быстрее и намного раньше, чем его последователи-шестидесятники. В том же письме он писал: «Сам я принадлежу к числу оптимистов. Убеждён, что просветление неизбежно, особенно после двадцать второго съезда КПСС». Вера в решения партийных съездов скоро прошла, а в просветление мы и сейчас хотим верить. По моим представлениям, в социализм, построенный сначала полностью, а потом и окончательно, Глазков не верил, а вот в «светлое будущее всего человечества» — коммунизм иногда верил. Или очень хотел верить.

— Каково ваше впечатление от поездки в Мытищи, от посещения мемориальной экспозиции в мытищинском музее?

— Ощутил мощный прилив местного патриотизма. У нас в Тамбове артефактов, связанных с Глазковым, на порядок больше, чем в комнатке художественного музея Мытищ. С некоторой тревогой ждал встречи с Николаем Николаевичем Глазковым.

Как он отнесётся к моему намерению писать книгу о его отце? Тревога рассеялась на второй минуте общения. Мы общались с русским интеллигентом, который очень похож на своего отца не только внешне, но и внутренне, человеком, прекрасно знающим творчество Глазкова. Я получил благословение и хороший стимул для работы.

— Имеет ли смысл говорить о музее Глазкова в Тамбове? Если да, то каким он Вам представляется?

— В разговорах смысла быть не может. Надо делать. Представляется очень просто. Сначала витрина, потом комната, потом несколько комнат. И человек. Желательно один, но добрый и увлечённый. Всё это в Тамбове можно найти, как и наполнение музея. В городе жили и сейчас продолжают жить несколько десятков адресатов и адресантов Глазкова, которые хранят артефакты. Братья Ладыгины сделали несколько сотен его фотографий, в том числе и в окружении тамбовских друзей. Всё это может стать экспонатами музея. В городе несколько десятков «самсебяиздатовских» сборников Глазкова. Только у меня их семнадцать. Уникальный материал не только для «поглядения», но и для исследования.

— Вопрос о любимом стихотворении, безусловно, был бы некорректным. Однако какие стихи Глазкова Вы прочли бы человеку, не знакомому с его творчеством?

— Исходя из моих декламаторских способностей — пожалуй, только его «Краткостишия». Посоветовал бы взять в библиотеке и почитать сборник 1984 года «Автопортрет» и 1989 года - «Избранное».

Ирина МАШЕНКОВА

## «Во мне твоё дыханье»

Закончился двадцатый век, наступила другая эпоха. И вот любители поэзии отмечают сто лет со дня рождения моего отца. Если бы он был жив в наше время, думаю, по-прежнему оставался бы верен истине, приближаясь к ней через правду поэта. Отец на удивление был разносторонним. Интересовался проблемами современной физики, знал наизусть таблицу Менделеева, хорошо разбирался в живописи, восхищался древнерусским искусством, снимался в кино: «Александр Невский» Эйзенштейна — массовка; «Андрей Рублёв» Тарковского, роль — летающий мужик; «Романс о влюблённых» Кончаловского, роль матрасника. Глазков увлекался боксом, коньками, плаванием. Но одно базовое качество его личности было очень глубоким и многогранным — это любовь к Родине. Это чувство вызывало интерес к прошлому, настоящему и будущему страны. Путешествия расширяли горизонты мировоззрения, послужили созданию замечательных стихов и поэм. Творчество Глазкова оказало огромное влияние на многих поэтов. О жизни поэта вышла книга воспоминаний, литературоведческие исследования, кинофильм «Я — Гений Николай Глазков» Но, пожалуй, лучше всего о себе сказал он сам.

Николай Глазков (сын поэта)

\*\*\*

Кто за меня, кто за него,  
Не всё равно, не все равны;  
Но на себя на самого  
Я посмотрел со стороны.

Мой предок раб. Мой предок скиф,  
Он не разборчив был на средства,  
И недостатков нет таких,  
Чтоб я не получил наследство.

Как предок, для своих побед  
Готов идти на что попало.  
Но я пророк. Но я поэт,  
Хочу, чтоб было небывало.

И в то же время надо мне,  
Моё чтоб имя стало громким,  
И я шатаюсь по стране,  
Что между предком и потомком.  
1943

\*\*\*

Но если путь к иным победам  
Я предпочту иным дорогам,  
Тогда не буду я поэтом,  
Тогда не буду я пророком.

Я обрету людей степенность,  
Я принесу немало пользы,  
Меня признает современность,  
Но обо мне забудут после.  
1944

\*\*\*

И эта не та,  
И та не эта.  
А надо? Ну да.  
И нету.

\*\*\*

Я пешком прошёл по трассе,  
Встретил трудностей немало.  
Очень много было грязи,  
Но не вся ко мне пристала.

Ну, а та, что в изобилие  
Покрывала душу, тело,  
Высыхая, стала пылью,  
С буйным ветром улетела.

\*\*\*

И если я не буду напечатан,  
А мне печататься сегодня надо,  
То я умру, швырнув в лицо перчатку  
Всем современникам, — эпоха  
виновата!

Я захлебнусь своими же стихами,  
Любимый, но и нелюбимый всеми.  
Прощай, страна! Во мне твоё дыханье,  
Твоя уверенность, твоё спасенье.

Небывализм меня

Вне времени и притяжения  
Легла души моей Сахара  
От беззастенчивости гения  
До гениальности нахала.

Мне нужен век. Он не настал ещё,  
В который я войду героем;  
Но перед временем состаришься,  
Как и Тифлис перед Курою.

Я мир люблю. Но я плюю на мир  
Со всеми буднями и снами.  
Мой юный образ вечно юными  
Пускай возносится, как знамя.

Знамена, впрочем, тоже старятся —  
И остаются небывицы.  
Но человек, как я, — останется:  
Он молодец — и не боится.

Тамбовский танк

Когда фашистские дивизии  
Врывались в наши города,  
Судьба планеты всей зависела  
От русской стойкости тогда.  
Когда весь мир дивился доблести  
Солдат, не сдавших Сталинград,  
Колхозники Тамбовской области  
Внесли свой вклад.

На танковую на колонну  
Они, работники полей,  
Собрали сорок миллионов  
Рублей.  
И трудовую лепту эту  
Они направили в Госбанк.  
Стоит, как монумент Победы,  
На площади тот самый танк.

Он высится на пьедестале,  
Всю тяжесть трудных лет храня.  
Сработана из прочной стали  
Его надежная броня.  
Его могучее орудье  
Доныне помнит дни атак,  
И с уважением смотрят люди  
На этот танк.

Любителям войны горячий  
Неплохо бы иметь в виду:  
Теперь колхозники богаче,  
Чем в том,  
Сорок втором,  
Году!

# УЛЬЕВ – ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ДРУГИХ

Есть люди, почему-то не думающие постоянно о самореализации, самоутверждении и самовыражении. Что-то в них так устроено, чтобы «раньше думать о Родине, а потом о себе». И даже если не о Родине — все равно не о себе. О других. В разные времена таких считают то святыми, то конченными чудаками и неудачниками, а то умелыми манипуляторами.

Сейчас время последнего из счетов. В манипуляциях подозреваются все, кто не продается явно и с размахом: «Значит, что-то выгадывает!»

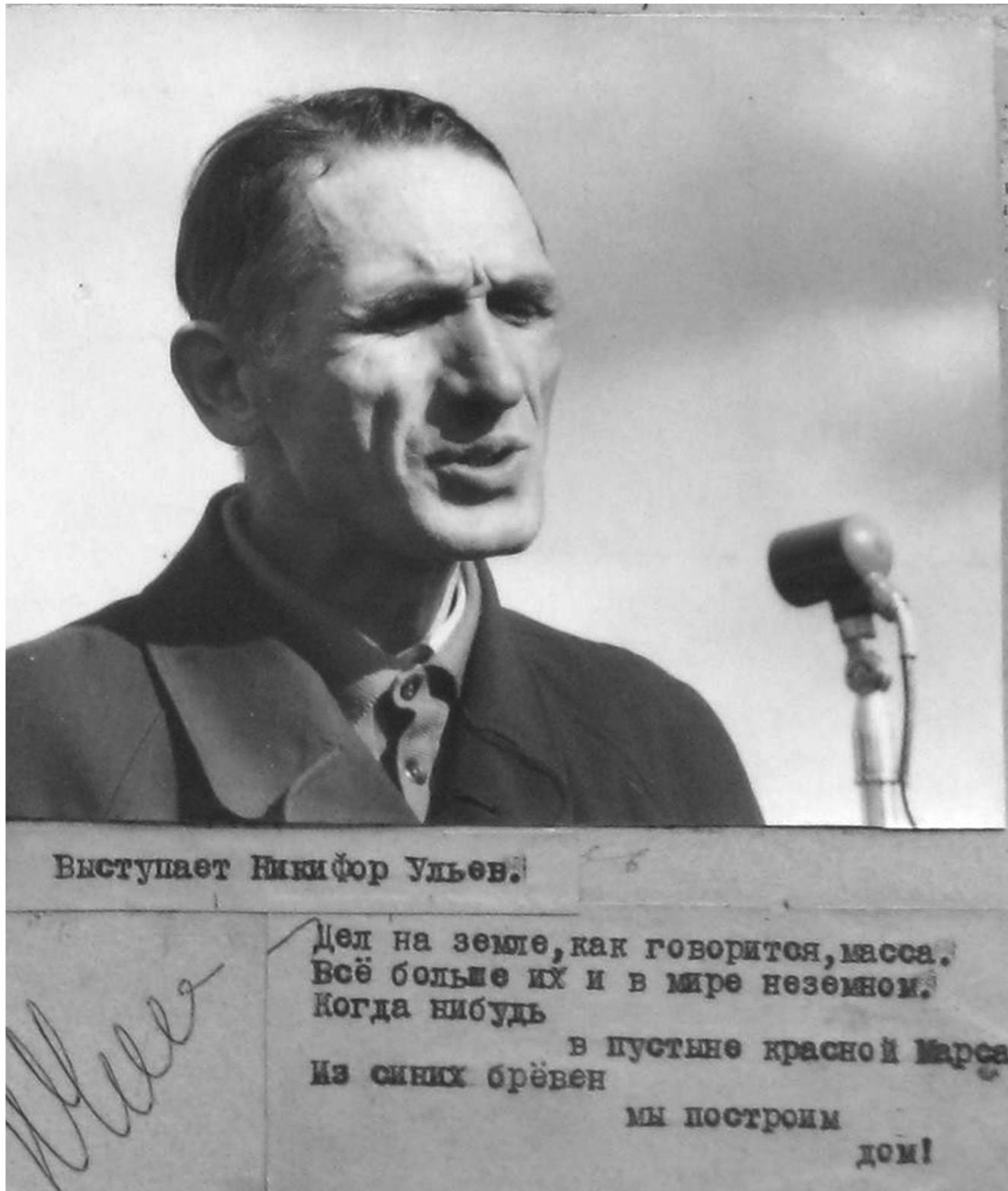
Никифор Иванович Ульев был из второго «призыва» — чудаком и, на взгляд ловцов «счастья и чинов», неудачником. Окончил Литинститут вместе с Николаем Глазковым. Глазков неоднократно бывал в Тамбове, и Никифор Иванович неизменно гордился дружбой с поэтом, которого по справедливости высоко ценил. Но являли они полную противоположность друг другу. Глазков словно постоянно держал в уме фразу Чарли Чаплина: «Скромность — прямая дорога к безвестности». На каждом углу объявлял себя гением и «презентовался». Конечно, не только поэтому, но в первую очередь по причине действительно яркого таланта 100-летие Николая Глазкова достаточно широко отмечается. Стихи его расхватали на цитаты, часто без указания авторства, что является одним из главных признаков популярности. Тем не менее, броская внешняя манера поведения тоже немало этой популярности помогла.

Ульев был скромнен и не уверен в себе. Часто казался «человеком без свойств», начисто лишенным своего «я», будто Акакий Акакиевич. И, хотя это совершенно не так, «заретушированность» личного в Никифоре Ивановиче явно способствовала тому, что упоминание его имени едва ли дважды можно встретить в интернете, а стихи вообще отсутствуют как таковые. Безусловно, безвестности «помогли» и провинциальная жизнь, и сталинский террор, который Ульев испытал на своей шкуре, о чем тоже тщательно умалчивал в самые «вегетарианские» годы. Не он один молчал о недалеком прошлом. Но, например, о том, что поэт Семен Милосердов «сидел», потому что, находясь на госпитальной койке, оказался на оккупированной территории, знали и поговаривали. А Ульев молчал лишь отчасти из генетического страха, а в основном потому что «неудобно как-то» и «что я все о себе да о себе». А может, Никифор Иванович безмолвствовал оттого, что в большей мере, чем «органов», считал себя узником собственного сердца, разрывавшегося от любви и сострадания к другим? Как писал С.С. Милосердов:

Мы сидим и ждем амнистию,

А ее все нет и нет.

Ульев амнистии от самого себя явно не ждал. Если интеллигентность и щепетильность — комплексы, значит, Никифор Иванович был закомплексован. Теперь многим кажется, что это синонимы. Но щепетильность и скромность относятся



к уходящей натуре, к другой типологии человека. Ульев, осознанно или стихийно, принял форму поведения, в рамках которой «я» действительно исчезающее мало, но весьма дорого, как тот золотник из поговорки. Жаль, что понимаешь это так поздно, когда все поезда успели уйти и самолеты безвозвратно улететь. Понимаешь, когда некому сказать, как ты уважаешь и любишь его. Так наказывается самость и молодое равнодушие, и это, поверьте, далеко не пустяковое наказание.

В очень нелегкую пору себялюбивой юности я совершенно неожиданно оказалась методистом Тамбовского дома художественной самодеятельности по культмассовой работе. В культмассовых мероприятиях я разбиралась немногим больше, чем в квантовой механике. Все мои мысли и чувства были сосредоточены на работе сугубо индивидуальной — писании стихов. Никифор Иванович Ульев занимался в означенном учреждении как раз «самодеятельными» поэтами. Его деятельность была

прообразом портала стихи.ру или чего-то подобного с поправкой на отсутствие Всемирной компьютерной сети и других современных способов коммуницирования.

Часто другими занимаются те, кто сам не преуспел на каком-то поприще, и успех подобных занятий зависит от того, как человек относится к своей личной неосуществленности. Тот же Акакий Акакиевич Башмачкин мог бы стать гениальным преподавателем каллиграфии, если бы преодолел патологическую застенчивость. Поскольку Ульев относился к себе с неподражаемым безразличием, а душой при этом обладал безразмерной, судьба в кои-то веки послала разновозрастным областным виршеплетам ценный подарок. Целыми днями Никифор Иванович встречал добравшихся из черноземной глубинки соискателей славы и давал им длительные и безупречно корректные консультации. Часто сам выезжал навстречу дарованиям и проводил в самых отдаленных

пределах области многочисленные смотры и фестивали талантов. Даже свою русскую красавицу-жену Шуру, насколько мне известно, встретил в одной из командировок. А вот вечера... Вечера Никифор Иванович проводил с друзьями. Очень скоро я стала почти непременной участницей этих непременных посиделок начала 70-х, но не из любви к компаниям и застольям, а потому, что в ДХС — так звучала аббревиатура учреждения — освобождалась пишущая машинка и можно было перенести на этот носитель то, что было накарябано в блокноте или вертелось в голове.

Заведение, куда меня занесла бивачная судьба, находилось в здании на пересечении Интернациональной (б. Широкой, б. Дворянской) и Кооперативной (б. Носовской, ныне — снова Носовской: с ума можно сойти от этой череды переименований!). Здесь некогда располагался Гранд-отель, затем — гостиница «Россия» с «люксами». Говорят, в ней отлично кормили — поди

теперь проверь! При мне прекрасное здание, выдержавшее нашествие рабочей молодежи и досуг неких металлистов, называли двояко. Меньшинство, вероятно, имевшее отношение к профсоюзному чиновничеству, — облсовпрофом, большинство — Домом учителя. Говорят, там была отменная библиотека, но посетить ее я так и не удосужилась, хотя в Пушкинской провела в общей сложности годы. В дэхээсний же период меня поглощали совсем другие дела. Интересные были времена, призревавшие, казалось бы, заведомо отверженных, если в бывших гостиничных лабиринтах первого этажа тюкала на машинке под умильным взором Ульева я, а методистом Дома учителя этажом выше служил Сергей Бирюков! Но призранием, попечением и заботой занимаются не «времена», а люди. Им и спасибо! Впрочем, люди много чем занимаются...

За что Никифор Ульев полюбил и призрел меня, еще ровно ничем, кроме строптивости и неуклончивости, не отличившуюся? Думаю, за собственное несовершенство. За навеянные воспоминания своей юности, наверняка столько обещавшей, но, как в стихотворении Марии Петровых, «выполнить позабывшей». Кажется, ничем мои стихи его, традиционалиста, даже архаиста, привлечь не могли. Но Ульев обожал — в самом прямом смысле: считал богоравным — Пастернака и какие-то ноты уловил в моих только проступающих из-под глыб несовершенства опытах. В газете «Комсомольское знамя» были напечатаны два полудетских опуса, а совсем детские, написанные, помню, в тулиновском пионерлагере, отобрала осторожная редакторская рука для вышедшей в Воронеже «коллективки». Вот и все мои достижения! У многих подопечных Ульева успехи были куда более весомые — под какой-нибудь рубрикой «Муза в рабочей спецовке» или «Поэзия полевого стана». Происхождение и биография еще ценились неизмеримо выше объективных данных — способностей или хоть простой склонности к какому-либо творчеству.

Никто иной, как «недопроявленный» Ульев, помог мне, что называется, «поверить в себя». Так часто бывает: тот, кто ни капли сам в себя не верит, отдает это необходимое на определенных порах свойство другому, как отдают последний ломоть хлеба и глоток воды. Мне и тогда казалось, что Никифор Иванович, особенно в процессе интеллектуального времяпрепровождения после рабочего дня, восхищается моими виршами непомерно. И сейчас так кажется. Но, поскольку текст имеет обыкновение отчуждаться с годами от его производителя, нынче я смотрю на это другими глазами — «широко закрытыми глазами» благодарной памяти. Тем более, нас теперь объединяет с Ульевым возраст, до которого мне удалось каким-то образом добраться.

Ничего особенно «диссидентского» в вечерних посиделках не проступало, ничто не выходило за пределы обычного тогдашнего кухонного «джентльменского набора». Никакой «запрещенки» и «нелегалщины» не было — ее добывали в других местах, хотя, как я понимаю, Ульев читал все, что в аналогичном кругу считалось обязательным к прочтению. Возможно,

берег от неприятностей, которые меня, как котенка по имени Гав, поджидали за каждым углом. Но было очень много стихов... Море стихотворное... Если не ошибаюсь, именно от Никифора Ивановича я впервые услышала коржавинское «Нельзя в России никого будить». Но читал он это и подобное этому ради поэзии, а не «протеста». Значит, нравилось, если читал. Над природно интеллигентным Ульевым частенько посмеивались как остальные методисты различных сфер приложения народных талантов, так и гости — сплошь непризнанные или ущемленные (по их мнению) в правах гении. Поскольку главной объединяющей книгой была не Библия, а диалогия Ильфа и Петрова, присутствующие, памятью о «Гаврииладе» Никифора Ляпис-Трубецкого, слагали этакие «пирожки» той эпохи. Что-то безобидное вроде:

Служил Никифор методистом,  
Стихи Никифор отбирал.

Говорят, прообразом Ляпис-Трубецкого послужил поэт Осип Колычев, к описываемому моменту только что покинувший бранный мир. Одна из книг прообраза называлась «Святое Ленинское знамя», но были и другие:

Что, если б чувства потеряли вес  
И враз не стало б  
творческих мучений!  
Безоблачность раздумий  
и свеченье  
Мечтаний легких взяли б перевес!

...Никто, никогда, начиная с упоенной собой меня, заканчивая всеми подборниками «безоблачных раздумий» и «мечтаний легких», не попросил Ульева почитать свое! За других не ответчица, но могу сказать, что мои чувства веса не потеряли, а только набрали с годами. И я все больше люблю и мятежную тамбовскую юность, и ДХС, о котором собираюсь написать повесть. И, конечно, Никифора Ивановича Ульева, которого смело могу назвать в числе своих учителей. Как сказал Вл. Соколов:

Безвестность — это не бесславье.  
Безвестен лютик полевой,  
Всем золотеющий во здравье,  
А иногда за упокой.

Безвестно множество селений  
Для ослепительных столиц.  
Безвестны кустики сиреней  
У непрославленных криниц...

И так далее... За все простите! За все благодарна!

Марина КУДИМОВА



## ЗАБЫТЫЕ?

## НЕТ, ВОЗВРАЩЁННЫЕ!

В 80–90-е годы прошлого века я в течение 15 лет вела на Тамбовском областном радио рубрику «Забытые и возвращённые имена». Несколько передач были посвящены поэтам Вячеславу Шуткову, Анатолию Корабельщикову, Владимиру Фокину, Никифору Ульеву. В силу разных причин талант их полностью так и не раскрылся, хотя они печатались в местных газетах, посещали занятия литературной группы при молодёжной газете «Комсомольское знамя», которой руководил легендарный, можно сказать, редактор Георгий Дмитриевич Ремизов.

Ни у одного из названных авторов отдельная книга так и не вышла. Были подборки в коллективных сборниках — по два-три стихотворения, которые, по сути, не давали представления об их творчестве. Каждый, тогда ещё молодой человек, занимался основной работой: кто-то был учителем, кто-то журналистом, кто-то слесарем. Это не мешало им заниматься стихами, но... на уровне хобби: писали от случая к случаю. А поэтический дар у них, безусловно, был...

Среди всех, кто из этого поколения приходил в газету, особенно выделялся Никифор Ульев. Он был старше и относился к тому типу людей, которых называют «не от мира сего». Ульев учился в Литературном институте им. Горького вместе с Глазковым. В Тамбове их знакомство переросло в дружбу.

Тот, кто интересуется творчеством «непредсказуемого», как он сам себя называл, поэта Николая Глазкова, наверное, знает, что в 1989 году в Москве, в издательстве «Советский писатель» была выпущена солидная книга — «Воспоминания о Николае Глазкове». В ней много интересных материалов о поэте, в том числе и Михаила Шевченко, который когда-то жил и работал в Тамбове. В своих воспоминаниях Михаил Петрович пишет: «Санчо Панса Глазкова в Тамбове был Ульян Ульев (Шевченко ошибся в имени: Ульева звали Никифор — В. Д.). Николай Иванович ласково называл его Ульянчиком. Что бы когда бы ни понадобилось Глазкову или всей компании, он говорил:

— Ульянчик сейчас добудет...»

И Ульянчик «добывал», делая это с удовольствием, и сам радовался сделанному больше, чем тот, для кого он что-то делал...

Почти полвека хранятся в моём архиве буклеты, афиши, пригласительные билеты к дням литературы, неделям поэзии, которые проводились в Тамбове и области в прошлом веке. Сохранился и коллективный сборник участников первой Недели поэзии, проходившей с 16 по 23 сентября 1966 года. В нём напечатана подборка из пяти стихотворений Никифора Ульева. Начинается она с отрывка из поэмы «Путешествие на Венеру и Марс» — «Земля»:

Здесь вдоволь и воды, и света,  
Чтоб колосился урожай.  
Земля — удобная планета,  
Она для жизни хороша!

На одной из афиш среди участников литературных праздников (16 — 20 сентября 1970 года) значится и Никифор Ульев — вместе с известными поэтами Москвы, Волгограда и других городов страны он выступал в разных аудиториях, в том числе и на полевых станах... Никифор Иванович был настолько скромным, застенчивым, что подвигнуть его на публичные выступления мог только Николай Глазков. Но, надо сказать, слушатели принимали Никифора Ульева очень хорошо, его стихи нравились публике. Учитель по профессии, он писал о школьных буднях, о пионерских лагерях, о великих людях, связанных с тамбовским краем. 9 октября 1966 года в газете «Тамбовская правда» были опубликованы стихи Ульева «Место дуэли Лермонтова». Он читал их у памятника поэту при большом скоплении людей, которые не могли остаться равнодушными, слушая такие строки:

О, слишком велика утрата!  
Не знаю, смоют ли века  
След крови, пролитой когда-то  
Здесь, у подножья Машука.

Никифор Ульев любил дарить друзьям книги, будучи убеждённым, что именно книга — лучший подарок. И любил делать на них стихотворные надписи. Так, на книге прозаика Дмитрия Зорина (однофамилец липецкого поэта Владислава Зорина), подаренной Семёну Милосердову, он написал:

Белый свет для встреч просторен,  
Хоть заботами забит он.  
Пусть писатель Дмитрий Зорин  
Не окажется забытым.  
И твою библиотеку  
Он украсит, без сомненья,  
Как подарок Человеку  
И Поэту в день рождения!

16 февраля 1975 года

Никифор Ульев писал стихотворные фельетоны, которые в 50-60-е годы прошлого века публиковались в газетах «Тамбовская правда» и «Комсомольское знамя». Он был разносторонним человеком, и тот, кто знал его, общался с ним, не мог не заметить незаурядность этой интереснейшей личности.

Валентина ДОРОЖКИНА



# Одна встреча...

— Майя Румянцева,  
говоришь?

— Что ты! это целая  
эпоха!

— А, как иначе?

Время было такое —  
счастливое и весёлое.



Поэты: Василий Журавлёв, Майя Румянцева, Николай Глазков. Фото братьев Ладыгиных. Из архива Дмитрия Гнатюка.

За целый день так нахохочешься, что к вечеру еле стоишь. Удача под ногами валялась, как забытая денежка. Нагнулся, чтобы поднять, огляделся — и вот оно счастье: Стах Начас, украинец из-под Галитчины, а, может, из-под всего Житомира (тогда в тонкостях не разбирались — Союз единый и неделимый), — идёт навстречу, или Гена Якушенко из Мариуполя, или долговязый Харланч, или кто ещё другой...

Счастье, как и отменное здоровье, слепым зайцем само в руки давалось, само к тебе шло. Да что об этом говорить, когда одни воспоминания!..

А как не быть счастливым, когда золотая жар-птица вдохновения обронила своё перо прямо тебе в руки — пиши, не стесняйся, чего ты! И ты, потеряв всякий стыд и совесть, бессонными ночами кропаешь нетленки, чтобы потом за стаканом ударного «солнцедара», рвать на груди рубаху, доказывая непонятливым свою гениальность — «Я тяжёлую брал кувалду, чтобы делать свои стихи». Если бы не работа, где надо вкалывать за жалкий кусок хлеба, мог бы и ещё гениальнее написать...

«Ночью выгащил я изолбу золотую стрелу Аполлона» — нет, такое сочинять тогда для нас, было невозможно. Аполлон стрелял не так метко. Как в известной игре: «Опять бью — мимо! Опять бью — мимо!» Но в писательской организации мы уже числились в активе: выступали на радио, печатались в «Тамбовской правде» и «Молодом Сталинце» — это ещё до разоблачения культа личности молодёжная газета так называлась...

Мы бессовестно набивались в «пророки», выступали и в клубах, и в студенческих аудиториях, и самое главное — в рабочих общежитиях и в колхозах на полевых станах. Нам тогда с известностью фартило, поддержка

писательской организации была безмерной.

Ах, Майя Александровна, Майя Александровна, ты многое для нас делала как старший товарищ и наставник. В каких мирах, в каких параллельных вселенных теперь обитает твоя великодушная душа?..

Майя Александровна переехала к нам в Тамбов из Липецка будучи уже широко известным советским поэтом, опубликовавшим в Москва не одну книгу. Я уже о ней знал многое, а вот познакомиться лично долго не приходилось. Майя, как мы её позже называли, жила тогда временно в гостинице с молодым человеком, моим ровесником Сашей Гусевым, с которым позже и подружился, а пока я Румянцеву видел разве только с обложки...

И вот стою в очереди в какой-то парфюмерный отдел универсама старинной постройки, что на улице Советской, тот, который с колоннами. Бритвенные лезвия, помнится, были в дефиците, а бриться надо каждый день, чтобы девочки любили. Очередь движется медленно, вернее сказать, совсем не движется. Прямо передо мной в красивом габардиновом пальто стоит какая-то привередливая женщина невысокого роста в ярком павлопосадском платке и долго выбирает духи. Лица мне не видно, только роскошный осветлённый локон причёски из-под шелка платка. Я нетерпеливо кручусь, стараясь обратить на себя внимание продавщицы, что вот, мол, и другому тоже что-то покупать надо...

Женщина в шикарном габардине оглядывается на меня и я... теряюсь. Это та самая поэтесса, что приехала к нам в Тамбов, видел на празднике литературы у памятника героической Зое. Боже мой! Вот она рядом! Стоило бы протянуть руку и познакомиться, но я посчитал это неуместным и вульгарным. Так и стоял...

— Девушка, обслужите этого молодого человека. Он, наверное, хочет духи невесте подобрать. Проходите, проходите, я не спешу.

Конечно, у меня в то время никакой невесты на подходе не было. Я пробормотал что-то несуразное и быстро ретировался из магазина, так и не успев приобрести лезвия к безопасной бритве. Мне показалось в присутствии такой женщины и поэта пошло покупать такие незначительные вещи. Где поэзия и где бритвенные лезвия?.. Вот если бы экзотические французские духи! Но где я, сварщик-монтажник по жизни, и где эти невозможные заморские ароматы?! Трудно сопоставить.

Но вскоре я познакомился, вернее, меня познакомили и довольно плотно и с Майей Александровной и с её, как теперь можно говорить, бойфрендом Сашей Гусевым. Познакомил меня в один из удачных вечеров редактор молодёжной газеты «Комсомольское знамя» Георгий Дмитриевич Ремизов, Юра, с которым к тому времени, я был на короткой ноге...

— Слушай, старичок, — говорю я ему, после хорошей рюмки чая, — познакомил бы ты меня с Румянцевой.

В то время Майя Александровна много публиковалась в «молодёжке» и Юра Ремизов, конечно же, знал Майю напрямую. Его мнения о поэтессе, как о человеке, были самые высокие.

— Познакомить? Старик, нетничего проще! Но в гости с пустыми руками не ходят, надо что-то и «пожамкать» принести, гостинцы какие-никакие...

Время было уже позднее. Редакция располагалась в большом здании напротив городского сада, и рядом продуктового магазина, конечно, не было.

— Дорогой отоваримся, пойдём! — сказал я Ремизову.

— Ишь ты быстрый какой! Мне ещё полосу вычитать надо, — и, сверкнув

очками, опять нырнул в испестрённое правками газетное половодье строчек.

— Ты, работа, нас не бойся! Мы тебя не тронем!

— Вот потому ты и бездельник такой...

Ремизов что-то проборматывая, быстро делал красным карандашом на газетном листе пометы.

Минут через двадцать-тридцать полоса была уже в руках у дежурного по выпуску и мы вышли на улицу. Зимний вечер был удивителен: возле уличных фонарей кружились в прозрачном танце белые мухи снега, только что познавшие чувство звёздного восторга там, в небесах, лёгкий морозец щекотал ноздри... Вперёд и выше! Только вперед и выше, а никак иначе... Молодой здоровый организм требовал разрядки, ожидание встречи торопило и обостряло все мои чувства. Гастроном «у Зои» был открыт и приветливо светился всеми окнами.

Пошарив по карманам, мы с удивлением обнаружили, что денег хватает только на «мальчика», так у нас назывались узкогорлые четвертинки, и на скромную монастырскую закуску. Что делать? Взять хлеба, колбасы, сыра и заявиться в гости без выпивки или с пачкой плавленого сырка и четвертинкой водки. Несолидно получается — посуда не та для двух мужиков пришедших в гости.

— Здравствуйте! — как-то бочком к нам подошёл, будто только и делал, что поджидал нас здесь или шёл следом Гриша Шифрин — молодой геолог, по каким-то причинам попавший в наш, далеко не интересный для геологов край. Отпавший от мудрой, но бездомной геологоразведки, Гриша искал место журналиста в Тамбове, его небольшие заметки иногда публиковались в «молодёжке», и он с гордостью носил в кармане удостоверение внештатника. Мальчик он был довольно

неглупый и с образованием, но что-то мешало ему устроиться в газету. С Ремизовым он был только на «Вы», но теперь, как нельзя кстати, он мог бы пригодиться редактору и доказать свою состоятельность как очень нужный человек.

— О, Григорий! — с нарочитым пафосом воскликнул я, тряся его руку с надеждой на еврейскую разумную щедрость. — Добавь! — достал из кармана мятые рублики.

— Сколько?

— Сколько не жалко.

— Да вот в гости к Майе Румянцевой идём, а гостинцы в редакции забыли, неудобно с пустыми руками... — Ремизов подул на очки, усердно перетирая концами шарфа запотевшие стёкла.

Услышав фамилию Румянцева, Гриша по-петушину вскинул голову и услужливо полез в карман. В руке у него оказалась сиреневая четвертная купюра. За эти деньги тогда можно было много кое-что взять. Четвертную он почему-то протянул мне:

— Бери на все!

От такой Гришиной щедрости я чуть не поперхнулся.

— Червонца хватит! Иди, бери пару бутылок водки, колбасы и сыру. Сдачу верни этому купчику. — Ремизов одобрительно указал очками на Гришу. — Я тебе потом верну! — А можно я с вами?

— Давай!

Гриша взял у меня деньги и сам отправился к кассе.

И вот мы, нагруженные свёртками, Гриша не поспешил (вот может же, когда захочет! — говорил Ремизов позже), мы оказались в маленьком, на два человека, номере гостиницы «Тамбов». Гостиница, недавно построенная, считалась самой подходящей для приезжих знаменитостей.

Мы, кажется, пришли в самый подходящий момент, судя по такой радушной встрече: всеобщее целование, обнимание и пожатие рук. Вообще, надо сказать, Майя Александровна была всегда гостеприимна, в чём автор строк не раз убеждался, оказываясь в гостях у Румянцевых в самое неподходящее время и в достаточно возбуждённом состоянии.

Нас, сегодняшних запозднившихся гостей, хозяйева встретили как самых настоящих давних друзей, несмотря на то, что мы с Гришей были здесь в первый раз. И вот уже верхняя одежда свалена на кровати, сдвинуты табуреты, изображая столик, и все мы без лишних разговоров заняли круговую оборону возле пакетов с гостинцами.

Нашелся щерблённый стакан, из которого были вышвырнуты окурки, Саша Гусев был курильщик ещё тот, да и Майя Александровна в то время любила подышать, и застолье стало быстро разгораться, словно сухая солома. Вот уже стало жарко. Расстёгнуты воротнички, развязаны галстуки.

— Передай от меня привет своей невесте! Как ей твои духи?

Какие духи? Какая невеста? Я уже забыл, зачем стоял тогда в очереди, а Майя Александровна вспомнила, память у неё на детали была замечательной. Бывало, на выступлениях забудешь каверзную строчку, а она тихо подскажет. Надо сказать, читала свои стихи Майя мастерски: прикрыв

пушистыми ресницами глаза и в каком-то наркотическом исступлении с запрокинутой назад головой в крупных шёлковых завитках блондинистой причёски, она походила на языческую ворожею из русского эпоса.

Но, как говорится, сто грамм — не стоп-кран, дёрнешь — не остановишь. Вот уже и я по кругу читаю свои только что написанные вирши. После Румянцевой читать стихи было опасно, всё несовершенство оказывалось заметно, словно железки в мешковине несёшь, но я в тот раз прошёл на «ура!».

Как сейчас я вижу ту чудную зимнюю ночь: и месяц, по-бандитски выглядывающий из-за шторы гостиничного номера, и наши нехитрые пожитки на колченогом табурете, и раскрасневшуюся знаменитую поэтессу в ореоле пушистых волос, близкую и по-товарищески доступную, словно мы росли в одном дворе и разницы в возрасте никакой.

Нам, молодым поэтам, всегда было лестно выступать в обществе Румянцевой: сразу прибавлялся вес, как у космонавта при встрече с Землёй.

Много, много чего можно сказать, отмечая память о чудесной женщине и поэте. Каких только встреч, весёлых и грустных, разных и не разных, приходилось ей делить с нами — шумной послевоенной безотцовщиной, но с ангелами в изголовье...

— И-эх! — сладко потянулся Саша Гусев в великолепном, толстой вязки, но женском свитере, — нам бы тройку с бубенцами, а не сводить концы с концами...

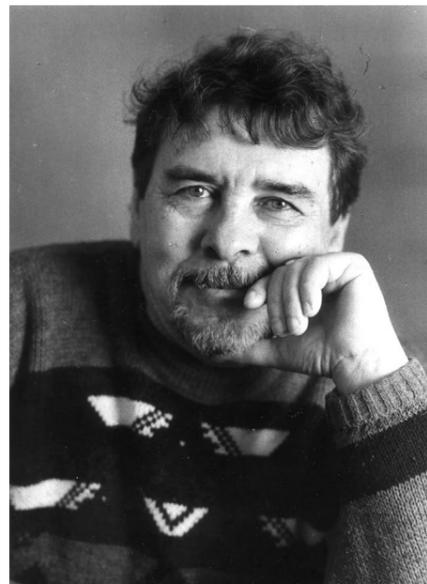
И было понятно, что — всё! Праздник окончился. Пора и честь знать.

Потолкавшись в дверях, мы попрощались дружески и с хозяйкой, и с Сашей Гусевым.

Позже я узнал, что бывшая супруга Александра Гусева в отместку зло над ним пошутила: сожгла всю его зимнюю одежду, и потому шикарный козырь Гусева был побит обычной дамой, имеющей на Гусева все права, — двое детей остались за кулисами драмы.

Но молодости больше к лицу обычные пьесы... Вот почему женский свитер так хорошо шёл к цыганской шевелюре красавца Гусева.

Аркадий МАКАРОВ



# Летающий мужик

Марина КУДИМОВА

100 лет Николаю Глазкову. Он создал свою легенду, что исчезающе мало кому удастся. Он оставил мемы, новообразования, прочно вошедшие в язык, — «самиздат» (усекновенное «самсебяиздат») и «поэтоград» — теперь так газеты называют. В его наследии множество фрагментов и «выбранных мест» с проблесками гениальности («я на мир взираю из-под столика» и пр.). Он заложил основы «иронической» поэзии, которая, правда, после Глазкова вся вышла из головы сотрудников КБ и «почтовых ящиков», вся рационально построена, но это уж как вышло. Он полетел в «Андрее Рублеве» с колокольни, сломал ногу, но окончательно прославился.

Глазков 17 раз бывал в Тамбове, дружил с очень близкими мне людьми, которым я по гроб обязана. Написал несваримые стихи «Тамбовский танк». Я 17 раз с ним не встретила. Это не удивительно: что могло быть интересного московскому мэтру, перед которым все приседали, во мне, девчонке? Но мне тогда казалось, что все наоборот: это мне не интересно, потому что заезжая знаменитость пишет «ерунду». А я читаю «высокое» и «нетленное»: ведь мои отрочество и юность совпали с малотиражной «растаможкой» запретного и наказуемого. Да, регулярно появлялись новые табу, но того, что «позволили», уже было не отнять. «Ерундой» казался мне вал глазковской обязаловки, отработки «эстетическим», а на самом деле политическим установкам советской поэзии, благодаря следованию которым поэт мог безбедно существовать и выпивать в «нижнем буфете». С годами я поняла, что Глазков, хлебнувший голода и холода, принял облик литературного юродивого не только ради прокорма. Он пародировал советскую валовую поэзию изошренно и мастерски, изображая «лояльного» графомана, не будучи им ни в коей мере.

Творческий процесс тогда протекал так. Поэты добывали путевку в тот или иной «Дом творчества». И продлевали эту копеечную благодать до тех пор, пока не выходили из номера, сладко потягиваясь и сообщая содрогающимся от зависти сопутевочникам: «Все! Закончил книгу». Далее надо было ввинтиться в издательский план, но это уже было делом техники и подбострастия. Эта техника распределялась на всех званных, кроме избранных, в том числе и на гениев. Но я говорю о валовой, «типичной» советской поэтической продукции, об искусственной,

колхозной, коллективной «болдинской осени». Автор уровня Глазкова по совокупности изданного раз навсегда доказывает цинизм и отвратность как численного подхода к творчеству, так и воспеваемую сегодня «заботу государства» о писателях, превращение литературы из цели — личного спасения — в средство личного существования. Объем продукции и выполнение «плана по валу» в литературе преобладал над качеством и смыслом производимого точно так же, как и в экономике. Сегодня мы пожинаем тлетворный урожай «объемного», экстенсивного подхода к словесным упражнениям. Прозанкам платили больше, поэтому они могли себе позволить в кокетельско-гагринской паузе не сидеть не разгибаясь за машинкой.

Глазков не первенствовал, конечно, на этом празднике жизни — он издал «всего» десяток книг. Бывали чемпионы и порекарднее. Лев Кондырев, автор текста песни «Славу мудрой партии поем», наштамповал штук 40 сборников. По воспоминаниям, Павел Шубин, выступая на обсуждении книги Кондырева, где присяжными заседателями были Инбер, Алигер и Кирсанов, высказался следующим образом: — Вот тут я слышал, что Лев Кондырев не умеет писать стихи. Хоча спросить вас — а кто умеет?!

Глазков умел. Но умел и искусно изображать неумение. У него есть с чем сравнить. А у Кондырева не с чем. Вот и вся разница. Обратите внимание, как тонко в приводимом стихотворении он пародирует Маяковского!

У меня квартира умерла,  
Запылились комнаты и кресла...  
Появились если бы дрова,  
Моментально бы она воскресла.

Можно жить в квартире хорошо,  
Но, конечно, не сейчас, а после:  
Я стихи пишу карандашом,  
А чернила взяли да замерзли.

Можно забыть на вокзале зал  
И тысячи прочих комнат;  
Но квартиру, в которой замерзал,  
На экваторе приятно вспомнить.

На экваторе, над небом иным,  
Через много лет, а пока  
Я курю, и в небо уходит дым,  
Потому что нет потолка!

Когда я потерпел аварию  
И испытал все беды,  
То филантропы мне давали...  
Хорошие... советы.

Краевед Сергей Федоров родился в селе Юрловка Никифоровского района. Детские годы прошли в селе Малое Гагарино Бондарского района. По образованию инженер. С 1977 года проживает в Москве. Изданные книги: «В Моршанском уезде» (2014), «Село Раево Ивана Покровского» (2016), «Люди и ангелы. Об учителях Бондарской средней школы» (2016), «Трубниковы. История рода тамбовского дворянина» (2017), «Бондари» (2018).

— Сергей Сергеевич, что вас побудило заняться краеведением?

— После окончания Бондарской средней школы меня «занесло» в Новочеркасский политехнический институт. Говорю «занесло», потому что склонен к гуманитарным наукам. Но так сложилась жизнь. После окончания вуза более 20 лет работал по специальности, но в начале 90-х годов, оставив должность начальника отдела на одном из государственных предприятий, решил принять посильное участие в «строительстве капитализма». «Веселье» это были годы, порой даже слишком, и теперь слово «бизнес» вызывает у меня едва ли не аллергическую реакцию. В преддверии пенсионного возраста пришло новое увлечение — краеведение, ставшее с тех пор основным и любимым занятием.

Началось все с исследования собственной родословной, причем первые шаги в этой области лет 15 тому назад сделала жена. Она, кстати, физик по образованию. Интересно, что лет за двадцать до этого мы записали в тетрадку всё, что хранилось в памяти наших родителей, дедушек и бабушек. И только потом мы проторили дорожку в федеральные и областные архивы — и, выражаясь языком известного в прошлом политика, «процесс пошел». Изучая историю сел, имеющих непосредственное отношение к нашим предкам, обнаружили такой сонм имен, мимо которых мы не могли пройти мимо. Среди них прославленный генерал Михаил Скобелев, сибирский губернатор князь Матвей Гагарин, строитель знаменитого Дома Пашкова в Москве Петр Пашков и другие. Как итог, в 2014 году увидела свет книга «В Моршанском уезде». Через год состоялась её презентация в Бондарях.

— Вы почувствовали читательский интерес к своим изысканиям?

— Признаться, был приятно удивлен, что книга стала пользоваться спросом не только у специалистов, но и простых любителей истории родного края. Первоначальный тираж был всего 350 экземпляров, но через некоторое время пришлось еще два раза допечатывать книгу. Общий тираж составил 700 экземпляров.

— Расскажите подробнее, о чем повествует ваша книга?

— В сущности, это история сел и деревень, ранее входивших в Моршанский уезд Тамбовской губернии (ныне в составе Бондарского и Пичаевского районов): Гагарино, Малое Гагарино, Грибоедово, Коршуновка, Трубниково. По сюжету добавилось село Салтыково, позднее вошедшее в состав Пензенской области. Приведены любопытные факты из биографии их владельцев, многое опубликовано впервые. Например, Коршуновкой владел Матвей Иванович

## «Темы меня находят сами»



Иван Михайлович Покровский (во втором ряду третий), ординарный профессор кафедры истории Русской церкви и Архиепископ Евсевий (во втором ряду четвертый). О них будущая книга Сергея Федорова.

Муравьев-Апостол — один из трех братьев-декабристов.

Владельцем села Грибоедово был Паисий Сергеевич Кайсаров, адъютант фельдмаршала Кутузова, участник Отечественной войны 1812 года.

Ольга Федоровна Трубникова — дочь владельца деревни Трубниково. Она стала супругой знаменитого художника Валентина Серова.

Одним из владельцев Малого Гагарина был великий князь Николай Николаевич (младший) — дядя последнего царя. Фигура, мягко говоря, не однозначная.

О селе Гагарино (в прошлом Большое Гагарино) можно рассказывать долго. Его основателем был князь Матвей Петрович Гагарин, первый сибирский губернатор, сподвижник Петра I, впоследствии казненный за казнокрадство. Во второй половине XVIII века селом владел богатейший помещик Петр Пашков, умудрившийся всего за два (!) строительных сезона построить в Москве великолепный дворец, получивший известность как Дом Пашкова.

Салтыково. Начнем с того, что взаимоотношения гагаринского и салтыковского помещиков — Алексея Пашкова и Николая Полтавцева — будто бы послужили сюжетом к повести Пушкина «Барышня-крестьянка». Впервые я узнал об этом из статьи в газете.

Это лишь некоторые эпизоды.

— Какие открытия произвели на вас наибольшее впечатление в работе над книгой?

— Их немало. Приятно было узнать, что жена знаменитого художника Ольга Серова оказалась дочерью помещика подпоручика Федора Александровича Трубникова. Мои предки по отцу жили в Трубникове и были дворовыми у этого помещика. Отец рассказывал, что его прадед Иван Ильич Федоров был у барина кучером. В одной из метрических книг грибоедовской церкви так и записано: «Иван Ильин, кучер...». Документальное подтверждение предания дает необыкновенный прилив эмоций.

— Сергей Сергеевич, после этого

у вас вышло еще несколько книг. Как вы выбираете тему очередного исследования?

— Нет никакого выбора. Так сложилось, что темы находят меня сами. В книге «В Моршанском уезде» рассказывается о деревне Трубниково (ранее — село Новоникольское). Более 40 лет владельцем имения был вышеупомянутый подпоручик Трубников, у которого мои предки были дворовыми.

Через пару месяцев после выхода книги на мою электронную почту приходит сообщение: «...Моя мама, урожденная Трубникова, — прямой потомок Трубниковых, о которых пишет Сергей Федоров. Возможен ли контакт с автором?...».

Я ответил и на следующий день получил новое послание. Передаю по памяти:

«...Вчера испытал неожиданную радость — в один день и новость о вашей книге (где вы пишете о моих Трубниковых), и, еще более, — Ваш ответ! Позвольте представиться — Николай Южанин, 50 лет, тренер в профессиональном футболе... живу в Краснодаре. Недавно начал заниматься восстановлением истории семьи... Мама просила передать Вам поклон за Ваши труды...».

Южанины присвоили мне звание «почетного Трубникова», заодно подсказали и тему:

«... Мы с мамой уже считаем Вас своим, Трубниковым, готовы делиться всем, что знаем и имеем... У нас в семейной истории и эмиграция в Харбин и Шанхай (1918—1954), и репатриация в СССР, и сибирские казаки, и семья генерала Дитерихса, и много чего еще».

Мы подружились, стали работать сообща. В 2017 году наш труд увенчался выходом книги «Трубниковы. История рода тамбовского дворянина».

— Что можете рассказать о других работах?

— В сентябре 2014 года, просматривая в интернете газету «Тамбовские епархиальные ведомости», наткнулся на «Историко-археологическую записку...» (название сокращенное) о селе Раево Моршанского уезда Тамбовской

губернии. В следующих номерах оказалось продолжение. Редкое село удостоивается такого внимания, и у меня появилось желание, поначалу робкое, сделать этот материал достоянием жителей Раева и его уроженцев.

«Робость» исчезла, когда выяснилось, что автор «Историко-археологической записки» Иван Михайлович Покровский является не только внуком гагаринского священника (из книги «В Моршанском уезде»), но и замечательной личностью. Профессор Казанской духовной академии, заведующий кафедрой истории русской церкви, доктор церковной истории, автор более 40 научных трудов и многих публикаций. Лауреат Российской Академии наук и Ученого общества истории древностей при Московском университете, кавалер различных орденов... Стараниями этого великого труженика удалось спасти и сохранить не одну тысячу бесценных архивных документов.

Попытка выйти на потомков Покровского, проживающих в Казани, оказалась на редкость удачной, предопределив всю дальнейшую работу. Так я познакомился с внучкой Ивана Михайловича Ольгой Викторовной Троепольской и ее невесткой Наташей. На мой электронный адрес посыпались фотографии, письма, статьи из журналов и сами журналы.

В знак благодарности пришлось «записаться добровольцем» в исследователи рода Покровских, о чем я до сих пор вспоминаю с благоговейным трепетом.

В декабре 2015 года мне посчастливилось побывать в гостях у потомков И. М. Покровского. Они живут в Казани в доме-музее, который в начале XX века построил для своей семьи Иван Михайлович.

— Что вам принес минувший год в творческом плане?

— В сентябре 2018 года в соавторстве с коллегами вышла книга «Бондари». Отправной точкой послужило обнаруженное в архивах Санкт-Петербурга обилие сведений о Бондарской суконной фабрике. Фабрика появилась в Бондарях в середине XVIII века, а в начале следующего благодаря усилиям француза Лиона получила всероссийскую известность. Внимание, которое власть, включая императора Александра I, проявила к Лиону и его детищу, просто поражает. Рассказывать — места не хватит, в книге все это есть.

— Какая тема сейчас вас интересует?

— Месяц назад, когда я безмятежно «ждал от моря погоды» (творческая пауза затянулась), раздался телефонный звонок из Тамбова. Татьяна Николаевна Гнатюк пригласила меня совместно поработать над книгой, посвященной архиепископу Евсевию (Рождественскому), нашему земляку. Кстати, Татьяна Николаевна родственными узами связана с владыкой. Он был незаурядной личностью, твердым, последовательным защитником Православия. В 1937 году был приговорен к высшей мере наказания. Позднее реабилитирован. В 1981 году причислен Русской Православной Церковью Заграницей к лику святых новомучеников и исповедников российских.

Сергей СЕРГЕЕВ

# Хорошее место

**О**т ра же ни е  
в зеркале  
выдавало, что  
вчерашний день прожит  
не зря. Пообщались,  
до хрипоты — не до  
драки. Мат был, но  
грубости нет. «Надо все-  
таки контролировать  
ситуацию и разговор»,  
— в очередной раз  
подумалось. Неэкономно,  
из-за таких мелочей  
бюджет семьи трещит  
по швам. Шум воды  
отдавался в сознании, как  
шипение ядовитой змеи.  
А прекрасная аллегория  
получилась, надо куда-то  
тиснуть ее.



— Петя, возьми телефон, звонят! — жена, счастье и несчастье моё.

— Петя, телефон звонит, мне никто не звонит так рано. Это опять твои алкаши, покоя от них нет никакого, восемь часов, как расстались, и все еще не наговорились.

«Голос звучал в потоке воды, как эхо водородного взрыва», — что за бред лезет в большую голову.

— Иду! — надо идти, может, кто-то не добрался вчера до дому. Всегда добирались, а тут не добрался. Хрень какая-то в голову лезет, сейчас буду выслушивать извинения и — дальше — как меня осенило на гениальный сюжет.

Закрывая кран, вспомнил, что жена месяц просила заменить его или хотя бы вызвать сантехника. Надо сегодня же купить новый или хотя бы позвонить соседу, чтобы зашел опять и поменял прокладку. Иначе развод или испорченные выходные.

— Слушаю вас.

Хриплый голос, незнакомый, плыл поперек течения и четко резал воду.

— Николай Николаевич Зазженев скончался... ночью, похороны послезавтра. Мне бы хотелось похоронить его на Воздвиженском кладбище. Согласно его заслугам перед партией и родиной. Это его жена Аглая Ивановна Попова. Перезвоните мне.

Гудки в ушах и голове. Ни

«здрасьте», ни «до свидания».

Хотя какое «здрасьте», такое горе. Тихо относя липкую трубку телефона от уха и так же тихо кладя ее на аппарат, я понял, что кран в ванной комнате перестал капать.

Н. Н. Зазженев, живой классик, лауреат премий, трижды женат, а на вчерашний день — тихий писатель и пенсионер с породистым борзым лицом, седыми волосами, осанкой, как жердь, даже в свои 88 имел прямую спину. Вот именно — имел. Имел одну большую толстую книгу, переиздаваемую уже пять раз и кормившую всех трёх жен и их семьи. Сценарий тоже приносил деньги.

А без денег никуда. Вода из крана не течет.

Пропала суббота. Куда звонить? Вот почему позвонили мне, я что, похоронная команда им всем? Конечно, похоронная. Ты председатель писательской организации, ее лицо и отчество, которое в ответе перед партией и членами организации. Вспомнились вчерашние пьяные Михмихины шутки: «Кто как писал, того там и похоронят». Где «там» — у Кремлевской стены? Зачем лез на рожон?..

— Петя, что случилось? С мамой? Ну, не молчи! — ее бледное лицо и глаза, моментально наполнявшиеся влагой, сигнализировали, что пауза по

Станиславскому слишком затянулась.

— Да н-н-нет, Зазженев вчера скончался, жена звонила, хочет похоронить на Воздвиженском. Все хорошо.

Второй секретарь по идеологии, всегда все знающий, на сообщение по телефону отреагировал ровно, на дежурные приветствия сказал:

— Я уже все знаю и считаю, что необходимо прах такого значимого для города и страны человека захоронить на Воздвиженском кладбище. А теперь — к делу. Где кладбище, вы, я надеюсь, знаете. Найдете смотрителя, он уже в курсе ситуации и окажет вам помощь с выбором места. Ну, вот и все. Держите меня в курсе событий и по любому вопросу, сразу же ко мне. Какой великий советский писатель скончался... Да. Жду звонка, — и повесил трубку.

Надеваю пальто, шапку, три минуты иду на остановку, жду троллейбус № 5 — недолго, пятнадцать минут, — до Воздвиженского кладбища недалеко — еще пятнадцать, — отсечки времени напрягают и не дают перескочить на другие темы этого сумбурного дня. От остановки до дома смотрителя недалеко. Дом деревянный, непонятной архитектуры, покрашен зеленой масляной краской, которая из-за солнца, ветра и старости дерева отлетает и оставляет серые следы. Дом, как и всё

здесь — деревья, памятники, дорожки, оградки, — серый, безвременный.

Без стука прошел внутрь помещения и увидел такого же серого человека, как и всё здесь вокруг, безвременного. Поздоровались. И, сразу переходя к делу, он сообщил:

— Место вам уже подобрал, не на центральной аллее, сами понимаете, а третье ответвление направо. Место хорошее, видное и просторное. Пойдете смотреть?

Это «вам» в душе покорило, хотя почему и нет, здесь всё — нам. Я сказал:

— Спасибо. Нет. Разрешите, сделаю два телефонных звонка. Служба, понимаете.

— Конечно, звоните.

Телефонный аппарат, в отличие от всего серого и безвременного, был черного цвета и невероятного размера. Не помня номер на память, я достал записную книжку и открыл на букве «З».

— Ну что ж, будем звонить новоиспеченной вдове, — зачем-то произнес я свои мысли вслух. Смотритель хмыкнул. Дозвониться удалось только с третьего раза. Вдруг в трубке что-то щелкнуло и стальной голос произнес:

— Слушаю вас.

— Это Липунцов Николай Васильевич, председатель Союза писателей. Место на Воздвиженском кладбище, как вы просили, нам выделили. Хорошее место, рядом с центральной аллеей, третье ответвление направо. Место хорошее, видное и просторное.

— Спасибо за хлопоты. Хоронить будем в деревне, где он родился, он так завещал. А про место это я хотела узнать, действительно ли он был такой выдающийся писатель, каким себя считал.

Трубку повесили, и в противной тишине раздалось: «Кап, кап, кап».

— Что это?

— Прокладки третий раз меняю, а он все капает, — разорвал тишину серый голос безвременного человека.

Поднявшись, я вышел из дома и еще долго повторял: «Кап, кап, кап...»

Юрий САМОРОДОВ



# Эссеистические миниатюры

Александр ПАУТКИН

## Солженицын (блиц-портрет)

Китайская студентка в теленовостях на вопрос журналиста, кого из русских писателей она любит, ответила: «Александра Солженицына». И добавила: «Он правдоискатель».

Верную, в целом, характеристику писателю дала молодая китайка.

Солженицын — да, правдоискатель. Но и борец за правду. Боролся за неё, родимую, когда это было особенно опасно, в период частичной реставрации сталинизма.

Впопыхах (в «захлёсте», как сказал бы сам Александр Исаевич) мог вступить в борьбу и с ней, с правдой, если она противоречила его концепциям.

В качестве примера три темы из «Архипелага Гулага»: измена Власова, трактуемая как вынужденный шаг со стороны генерала, попавшего в окружение.

«История» жуткой прострации Сталина в первые дни войны, когда о её начале вместо него объявил Молотов.

И, наконец, тема Великой Отечественной. Солженицын именовал её советско-германской войной. Звучит нарочито уничижительно, даже издевательски. Получается, воевали мы с одной Германией? А где были другие страны Европы? Не они ли сражались против нас на стороне Гитлера? Мысль Солженицына состоит в том, что ответственность за развязывание второй мировой несут два тирана — Гитлер и Сталин.

Не желаете ли покаяться, русские?

\*\*\*

Критики привычно сравнивают Солженицына с Достоевским. По моему, ничего общего, кроме тюрьмы.

Солженицын — другой, хотя бы потому, что вырос и получил образование в Советском Союзе — стране идейной, атеистической. В его душе не дьявол с Богом боролись, а homo soveticus с антисоветчиком, мыслитель с художником.

Победил мыслитель антисоветского толка, подтверждением чего является «Архипелаг Гулаг» — самая выстраданная им, жестокая книга, изданная у нас в начале девяностых.

Она породила смятение в умах, внесла раскол в среду интеллигенции, часть которой двинулась в демократическую оппозицию, а другая, возгласив писателю анафему, отшатнулась от него навсегда.

\*\*\*

Солженицын беспощаден к теории и практике коммунизма. Коммунисты для него — порождение ехиднино. Ничего положительного, ничего полезного он не находит в их деятельности. Для него не существует большой разницы между первобольшевиками, фанатиками классовой борьбы и коммунистами брежневско-горбачёвской эпохи, вкусившими от западного древа познания. Определённое, чем он это



сделал, выступая перед жителями старинного города Боровска на тему коммунизма, Солженицын, кажется, никогда не высказывался:

«Яростные обвинения в мой адрес о содействии распаду СССР я слышал почти везде. Меня только удивило то, что Советский Союз выступающие называли «цветущим». Я ровесник Октября, конец 20-х годов прекрасно помню. Я помню это ужасное время: дети отказывались от родителей, 15 миллионов крестьян послали на уничтожение. И всё это было в «цветущем» Советском Союзе. Потом были аресты 30-х годов. Потом народ всё простил и пошёл воевать, потому что Родину надо было спасти».

В «цветущем» СССР положили 30 миллионов человек на фронте там, где не надо было класть. Пехотинцами разминировали минные поля. Жуков потратил миллион человек, чтобы взять Берлин, а можно было и не брать, так как война была уже кончена. Так что оставьте эти басни! Я несколько не раскаиваюсь! Я не мог не бороться с большевизмом, потому что это сатанизм! Это сатанизм, который ненавидит все наши идеалы, нашу русскость, наше православие. Против сатанизма не бороться я не могу!!!»

Солженицын раздражён идущими за ним по пятам обвинениями в причастности к развалу Советского Союза. Он негодует. Но разве «Архипелаг Гулаг» раскрытием механизмов системы рабского труда в СССР, всей подноготной его «цветущей» поры не создал предпосылку для распада советской империи? Сам ведь писатель сказал: «А всё ж и от крика бывают в горах обвалы».

\*\*\*

На закате жизни Солженицын, перманентно озабоченный судьбой страны и её будущим, выпустил сборники статей — «Русский вопрос к концу XX века» и «Россия в обвале». Их фундаментом являются три постулата: необходимость отказа от имперского пути развития, необходимость сбережения народа, участие масс в управлении государством. «Россия в обвале», без сомнения, одно из лучших произведений Солженицына в жанре публицистики.

Я слышу голос мудрого старца, не

потерявшего интереса к хитросплетениям мира сего, чуткого к драматическим событиям на родине.

«Наше спасение — только в нашем самодействии, возрождаемом снизу вверх. Ах, если бы, если бы мы были способны к истинному всеобъединению: мирными средствами, но воистину всенародно выразить наш гнев — так, чтобы власти в своём мраморном корыте задрожали и очнулись. В других странах такими массовыми выходами и поворачивают ход своей истории».

А пока не способны, то вот и правило: «Действуй там, где живёшь, где работаешь! Терпеливо, трудолюбиво, в пределах, где ещё движутся твои руки».

Последуем совету — нет, завету великого человека, несмотря на все его заблуждения.

## Похвала благородству

С тем, что полюбил в детстве, не расстаюсь. Французскую экранизацию «Трёх мушкетёров» Дюма (режиссёр Б. Бордери), я посмотрел четырнадцать раз и сегодня смотрю её с незамутнённым чувством, благо диск с записью фильма под рукой. А тогда, в шестидесятые годы, меня поразили лица главных героев — благородные, мягкие, светящиеся умом, которые в России принято называть интеллигентными.

О, как элегантно фехтовали на экране слуги короля! Как эффектно пронзали противника, как жарко впивались в губы декольтированных красавиц, какие дерзкие реплики бросали врагам его величества!

Под воздействием фильма я мечтал о том, чтобы в Советском Союзе вместо казённых «товарищ», «гражданин», «гражданка», употреблялись бы ласкающие слух «месье», «мадмуазель», «мадам». И сегодня я утверждаю: будет благом (эстетическим, нравственным, каким угодно!), если введём у себя в России французскую форму обращения.

Давайте же вспомним девятнадцатый век! Почему вдруг все как один заикнулись на англо-американской культуре? Неужели навредим себе, зачерпнув из французских источников, бывших когда-то в России почти родными? Русские «господин», «госпожа», кроме того, что они звучат надменно, ещё и нестерпимо пахнут многовековым холопством. Французская же форма обращения, в сравнении с русской, — всего лишь лёгкий выдох. Раболепия у нас будет меньше, если её примем.

Однако вернёмся к нашим мушкетёрам. После замечательного, дающего урок хороших манер фильма Бордери, роман Дюма экранизировался неоднократно, в том числе и у нас в стране. Но эти экранизации не отличались чутким отношением к первоисточнику, в них не было зоркости на конкретно-историческое, сверкающих диалогов, покоривших меня в детстве так, что я до сих пор помню их наизусть.

Следующие «Мушкетёры» снимались уже не по мотивам Дюма, а по мотивам голливудского прочтения Дюма: ряженые в костюмах XVII века, обязательные мордобои,

невнятные диалоги и вульгарные шуточки. На примере киноверсий «Трёх мушкетёров» можно проследить, как меняется мода на тип мужской красоты, а вернее, как меняют представление о мужской красоте у простого зрителя (зрительницы) голливудские кинопродюсеры и ориентирующиеся на Голливуд европейские киноделы.

Если шестьдесят лет назад эталоном мужской красоты считался Жерар Филип (женщины СССР его обожали), то теперь Франция лепит мужчин по образу и подобию Жерара Депардьё, посредственного актёра с мясистым лицом лавочника. Горько, но факт: время одухотворённой красоты прошло. Наша эпоха бредит атрибутами физиче-ской силы.

\*\*\*

Грущу по милому, старомодному театру, в котором звучит не муторная «фанера», а живой оркестр, скорее, даже оркестрик, исполняющий специально написанную к спектаклю и притом талантливую музыку (вспомним театральные сюиты Шостаковича, Прокофьева и Хачатуряна). Где нет места взбесившимся от свобод режиссёрам-самовыраженцам, оскверняющим классику.

Грущу по театру, в котором роль режиссёра скромна и заключается прежде всего, в уважительном отношении к авторскому замыслу, актёры же выразительно доносят его до зрителя, не вопят и не дёргаются по каждому поводу, не матерятся, не занимаются показом голых задниц и передниц.

Мечтаю о театре, похожем не на цирк, не на балаган, не на публичный дом, а на театр.

\*\*\*

В интеллектуальных поединках с софистами, Сократ, как известно, всегда одерживал верх. Прощупывая соперника на предмет спора, находил уязвимые точки в его аргументации и, загнав в тупик, оставлял «с носом». Однако исторически дело Сократа проиграно.

Интеллектуальной честности, объёму и глубине знаний, диалектическому методу, сказали: «Прощайте!» Победил транснациональный софист XX века. Победил неубедительно, зато с блеском шулерства, которому так симпатизирует толпа.

И хотя по сравнению с софистами древности, нынешние отрицатели объективной истины — люди заурядные и просто ничтожные, они обладают властными рычагами для пропаганды своих вредоносных идей.

\*\*\*

Перечитывая «Общественный договор» Жан-Жака Руссо, я обратил внимание на конец главы «О народе», ранее наспех прочитанной и потому забытой. Вот её заключительные строки: «Российская империя пожелает покорить Европу и сама будет

покорена. Татары, её подданные или её соседи, станут её, как и нашими, повелителями. Переворот этот кажется мне неизбежным. Все короли Европы сообща способствуют его приближению».

Под татарами Руссо, вероятно, понимает мусульман вообще, или магометан, как говорили в его эпоху. Не есть ли это провидческая картина грядущей мусульманизации европейских стран, включая Россию?

\*\*\*

Странно сегодня произносить привычное в недавнем прошлом выражение «внутренний мир музыканта». Странно потому, что не существует его уже — этого мира, который мог быть сложным, противоречивым, эклектично разнообразным, наполненным страстями или, наоборот, интеллектуально сдержанным. Что есть? Жалкое содержимое умственной потреб. корзины обывателя: байки, анекдоты, мифы, кулуарные сплетни, пошлости, изречения отдельных знаменитостей, модные поп. теории, и т. д. Современный музыкант-исполнитель — это прагматичное существо, с техническим аппаратом, работающим вхолостую. Способен ли он предложить что-то публике, кроме извлечения нужных нот в нужное время, кроме бессмысленной беглости пальцев и тупого натиска? Ничего. Концертное исполнение есть своего рода рентген. Он показывает, каково содержание души выступающего, насколько оно интересно, глубоко, значительно, либо замутнено ложными ценностями. «Гладкая, как клеёнка», — заметил Гейне об игре современного ему скрипача. Великий поэт, не будучи музыкантом, понимал, что аккуратная до прилизанности игра не может считаться признаком высокой художественности исполнения, так же, как не одобряется пресловутая гладкопись в литературе и живописи. А в наше время музыкальная мафия и обслуживающая её интересы пресса любимчика, играющего всего лишь правильно и опрятно (то есть хорошего ремесленника), спешат произвести в гении.

\*\*\*

Нет для меня зрелища прекрасней, чем девушка с книгой. И если она читает не каких-нибудь донцовых и марининых, а Достоевского, я испытываю чувство огромного облегчения, будто больной зуб удал. И думаю: «Не всё ещё потеряно, вырлут заблудший молодец на путь истинный».

Кого из зарубежных классиков читает молодёжь? Как я узнал из интернета, у некоторых пользуется успехом, казалось бы, безнадежно устаревшая «Новая Элоиза» Руссо. Видимо, находят в ней что-то такое, чего я в своё время не заметил. Современная девушка проливает слёзы над судьбой главной героини романа в письмах, оторваться не может от «Коринны» Жермены де Сталь — книги, которой, я признаюсь, не читал, но прочитаю всенепременно.



## «Импресарио» - повесть о мистификации



Роман ЛЕОНОВ

Я люблю взять любую книгу с полки у друзей и, не читая аннотации, открыть и ворваться в тот мир, который предлагает автор читателю. И с первых строк можно понять, захватит тебя эта история или нужно приложить усилия, чтобы дойти с героями до конца. Часто это бывает очень любопытным.

Так ко мне в руки попала книга Ольги Сирото «Импресарио». В подзаголовке читаем: «Историческая повесть». Повествование поделено на главы.

С первой страницы я, как читатель, понимаю глубокую погруженность в событийный ряд самого автора. Кажется, что история эта не просто выдумана или описана, а пропущена через сердце и душу писателя. Мало того, чувствуется, что малознакомые еще мне герои горячо любимы творцом, создавшим эти образы.

О чем, а вернее, о ком эта история начинаем догадываться на 7 — 8 странице. Сопоставляем простые факты: Англия, конец XVI века, театр, история «о храбром датском принце Амлете»... Шекспир? Конечно!

Эту догадку далее по тексту подтверждают хорошо известные названия «Генрих VI», театр «Роза». Хотя имя «Уильям Шекспир» прозвучит только к концу первой главы. Тогда-то и станет понятно, почему же прежде звучат совсем другие имена.

Признаю, невольно ловлю себя на мысли, что передо мной очередная история о знаменитом, растражированном и спорном поэте-драматурге. И где-то даже начинаю сомневаться — а как, интересно будет дальше?

Будем честными, что эту историю рассказывали и пересказывали уже сотни, а может, и тысячи раз. Шекспир в мировой истории, несомненно, самый знаменитый и значимый драматург, оказавший огромное влияние на развитие всего театрального искусства. Но о Шекспире правды не знает никто, есть лишь легенды, мнения, некоторые документы и его великие произведения. А о том, кто эти произведения создал, — снова легенды и споры.

И эта книга, кажется, о том же. Даст ли она что-то новое?

Но подкупает мелодичность языка повести. Автор ведет за собой образностью и неформальными решениями. Среди хорошего грамотного прозаического текста очень умело расставлены цитаты поэтических строк Уильяма Шекспира. Произведения классика даются в разных переводах, среди которых можно найти имена Евгении Бируковой, Татьяны Щепкиной-Куперник, Михаила Зенкевича, Самуила Маршак, Михаила Лозинского, Татьяны Гнедич и многих других замечательных русских писателей-переводчиков.

А сама книга в общем-то и не претендует на очередное предположение-открытие или скандальное заявление. Историческая повесть рассказывает о судьбах людей, показывая сложность устройства общества и значение случая в нашей жизни. А вот жизнь самих героев, как признает Ольга Сирото в последних строках своей повести, «стала началом Великой 400-летней Мистификации».

Умышленно не пускаюсь в подробный пересказ содержания книги, чтобы не испортить впечатление у заинтересовавшегося читателя, который,

быть может, приложит усилия, чтобы найти историческую повесть и самому изучить историю «Импресарио». А вот удержаться и не сказать нескольких слов об авторе не могу.

Ольга Сирото — актриса Тамбовского драматического театра, член Совета при главе администрации Тамбовской области по культуре и искусству, член правления Союза театральных деятелей (Тамбовское отделение), педагог по сценической речи кафедры актерского искусства Академии культуры и искусств ТГУ им. Г. Р. Державина, дипломант и лауреат Всероссийских театральных фестивалей.

Удивительно, но только когда узнаешь об авторе, становятся ясными и выбор темы (Шекспир для любого актера — мечта), и эффектность подачи материала. Писатель не просто излагает текст, а делает подачу, как это обычно происходит во время работы актера, который, выходя на сцену и живя в предлагаемых обстоятельствах, каждым своим действием влияет на зрителя, держит его внимание и ведет за собой.

Кстати

Маргарита МАТЮШИНА

Недавно на Камерной сцене Тамбовского государственного академического драматического театра состоялась презентация книги Ольги Сирото «Родом из детства». Для театральной общественности это были сразу два премьерных события.

Директор «Тамбовтеатра» Пётр Куликов давно мечтал о такой площадке, как Камерная сцена. Не сразу, но мечта воплотилась в реальность. И первым событием, начинающим летопись Камерной сцены, стала презентация нового издания. Да не простого, а теснейшим образом связанного с театром.

Рождение книги и рождение театральной площадки — это трепетные моменты. Трепетны, а от того и ценны, и детские воспоминания каждого человека. В название своей книги Ольга Сирото вынесла часть известного высказывания французского лётчика и писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Все мы родом из детства». Оно как нельзя лучше подходит необычному формату этого сборника, который составили воспоминания мастеров сцены Тамбовского драматического театра. А необычность его в том, что Ольга записала воспоминания о детских годах ныне признанных артистов. «Я надеюсь, что, путешествуя по воспоминаниям героев книги, — пишет, обращаясь к читателям в послесловии, Ольга Сирото, — вы, быть может, освежили и свою память, провели, так сказать, «реконструкцию» собственного прошлого. Что ж, иногда это очень полезно — вспомнить, что все наши мечты и чаяния, все первые «ласточки» чувств, первые шаги к истинному призванию родом из детства».

# «Паж, или пятнадцатый год»

ПРОДОЛЖЕНИЕ.  
НАЧАЛО В №13.

Семён ЗОЛОТУХИН

7 октября 1830 года Пушкин, находясь в Болдино, пишет прелестное, очаровательное стихотворение под названием «Паж, или пятнадцатый год». Эпиграф к нему автор позаимствовал из комедии Бомарше «Свадьба Фигаро»: «Это возраст Черубино».

Кто такой этот Черубино? Это — Керубино, паж, чудный юноша, действующее лицо этой комедии.

Данный эпиграф является «ключом» ко всему стихотворению.

«Это возраст Керубино» — как бы говорит автор читателю, взывая к его снисходительности по отношению к самоуверенной и наивной, эгоистической и романтической, но всё же прекрасной юности.

Название стихотворения дополнительно «расшифровывает» его смысл — «Паж или пятнадцатый год».

Чего же здесь больше — «пажа» или «пятнадцатого года»?

Пушкин, который был к моменту написания этого стихотворения сложившимся мужчиной, любит чужой юностью, с ее помощью возвращается к прошлым лицейским годам, где он был Обезьяной с Тигром и Французом.

Однако герой стихотворения — не лиценст, а человек военный, паж, воспитанник Пажеского корпуса.

Стихотворение стоит того, чтобы привести его полностью:

## Паж или пятнадцатый год C'est l'age Cherubin...

Пятнадцать лет мне скоро минет;  
Дождусь ли радостного дня?  
Как он вперед меня подвинет!  
Но и теперь никто не кинет  
С презреньем взгляда на меня.

Уж я не мальчик — уж над губой  
Могу свой ус я защипнуть;  
Я важен, как старик беззубый;  
Вы слышите мой голос грубый;  
Попробуй кто меня толкнуть.

Я нравлюсь дамам, ибо скромна,  
И между ими есть одна...  
И гордый взор ее так томен,  
И цвет ланит ее так тёмна,  
Что жизни мне милей она.

Она строга, властолюбива,  
Я сам дивлюсь ее уму —  
И ужас как она ревнива;  
Зато со всеми горделива  
И мне доступна одному.

Вечор она мне величаво  
Клялась, что если буду вновь  
Глядеть налево и направо,  
То даст она мне яду; право —  
Вот какова ее любовь!

Она готова хоть в пустыню  
Бежать со мной, презрев молву.  
Хотите знать мою богиню,



Мою севильскую графиню?..  
Нет! ни за что не назову!

В стихотворении нет ничего собственно «пажеского», но зато много юношеского. Тут и «ус», который «защипывает» герой, и «важность», и «грубый голос», и нарочитая жесткость — никто не смеет «кидать» «презрительного» взгляда на пажа, а уж «толкнуть» — не дай Бог!

Большую часть стихотворения поэт посвятил описанию любовных переживаний своего героя. Они тесно связаны с любовными переживаниями прошедшей лицейской юности и, естественно, с ностальгией.

Предмет страсти пажа — севильская, а первоначально варшавская (польский любовно-литературный след в поэзии) графиня, имя которой не называет ни герой, ни автор. Она горда, строга, властолюбива, умна, ревнива, величава.

Паж влюблен в нее безумно.  
Кто же послужил прототипом пажа?  
Известно, что Пушкин дружил с А. О. Смирновой-Россет, умнейшей фрейлиной и образованной женщиной.

У нее были братья, один из которых, Иосиф Осипович Россет, выпущенный из Пажеского корпуса в 1830 году в корнеты лейб-гвардии Уланского полка, дослужившийся впоследствии до чина полковника, как раз и явился пажом, влюбленным в испано-польскую графиню.

Как интересны бывают, казалось бы, совсем случайные совпадения...

Знал ли поэт, находясь в Болдино в 1830 году, что его сын Александр станет пажом, тем самым пажом, о котором думал его отец, создавая это чудесное стихотворение?

Однако связь существует. Незримая, трепетная. Между пажом Бомарше, между Керубино и между пажом Россетом, а через них — и с пажом Сашей Пушкиным, сыном поэта. Трех пажей объединило перо поэта.

Пушкину не довелось после Лицея стать юным воином, гусаром, наездником. Но эта мечта навсегда осталась с ним. И она постоянно возникала в образах юных воинов, людей чести, открытых и романтических, таких, как, например, прапорщик Гринев...

Поступление в Пажеский корпус являлось большой честью и залогом успешной карьеры. Для многих родителей дворянских отпрысков это было заветной мечтой.

Пажеский корпус существовал в России с 1802 по 1918 год, хотя пажи были при дворе со времен Петра Великого.

Вот что писал о Пажеском корпусе и пажах князь П. А. Кропоткин в своих «Записках революционера»:

«В этом привилегированном учебном заведении, соединившем характер военной школы на особенных правах и придворного училища, находящегося в ведении императорского двора, воспитывалось всего сто пятьдесят мальчиков, большею частью дети придворной знати. После четырех или пятилетнего пребывания в корпусе окончившие курс выпускались в любой — по выбору гвардейский или армейский полк, — безразлично, имелась ли вакансия или нет. Кроме того, первые шестнадцать учеников старшего класса назначались каждый год камер-пажами к различным членам императорской фамилии: к царю,

царице, великим княгиням и великим князьям, что, конечно, считалось большой честью. К тому же молодые люди, которым выпадала подобная честь, становились известны при дворе и имели возможность попасть потом в адъютанты к императору или одному из великих князей. Таким образом они могли сделать блестящую карьеру. Поэтому папеньки и мамочки, имевшие связи при дворе, изо всех сил старались, чтобы их дети попали в Пажеский корпус, даже хотя бы в ущерб другим кандидатам, которые тогда никак не могли добиться вакансии».

Иными словами, поступление в Пажеский корпус могло быть началом успешной карьеры — придворной, военной, административной, дипломатической.

Важным обстоятельством, как мы видим, было и то, что пажи по своим обязанностям могли быть приближены к особам из Дома Романовых.

У пажей была очень красивая форма.

То, что юных мальчиков Пушкиных высочайше определили именно в Пажеский корпус, не было случайностью или же прихотью самодержца.

Государь, определяя братьев Пушкиных на воспитание в корпус, проявлял не только свое личное благородство и монаршую милость. Николай Первый, делая этот жест, возможно, сознательно политически «реабилитировал» «род Пушкиных мятежный», который в течение очень длительного времени был оппозиционен семье Романовых и их политическому режиму, особенно после революции 1762 года, которая привела на престол Екатерину Вторую. Тут уместна еще одна мистическая и историческая параллель — внук Екатерины Великой возрождает к политическому бытию, а может быть, и к политическому первенству род внука подполковника Льва Пушкина, верного Петру Третьему.

Правнуки должны были найти общее, но первый шаг к этому сделали внуки — Николай Первый и Пушкин.

И в этом смысле определение юношей Пушкиных в корпус — это естественное примирение двух родов.

Государь, определяя сирот в корпус на обучение и воспитание, становился как бы их духовным отцом. За них уже некому было хлопотать — за них хлопотал Государь Император.

Братья Пушкины, с другой стороны, мыслились царем уже как новые, не мятежные Пушкины, а как преданные царю и Отечеству дворяне. И, как мы знаем, в решении этого вопроса царь достиг своей цели. И это при том, что придворной, а уж тем более политической, карьеры братья Пушкины не сделали, в буквально смысле в толпе (жадной или нет, по Лермонтову — вот вопрос!) у трона не стояли. Все-таки, может быть, и родовая независимость сыграла тут свою определенную роль. Хотя Александр сделал карьеру военную, в чем и прямая заслуга Государя Николая Павловича.

Пажеский корпус располагался на Садовой улице, одной из самых

длинных в Петербурге, в красивейшем барочном Воронцовском дворце, построенном в 1749—1757 годах Бартоломео Растрелли для канцлера М.И. Воронцова.

Когда-то, при императоре Павле Петровиче, там располагался Мальтийский орден, изгнанный Французской революцией и обосновавшийся в России. Архитектор Джакомо Кваренги в 1789—1800 годах построил церковь Святого Иоанна Предтечи, была сооружена и католическая Мальтийская капелла.

Мальтийцы оставили неизгладимый европейский католический след в истории корпуса, символ ордена — белый восьмиконечный крест — стал знаком корпуса, по нему узнавали «своих».

«Связка» пажей была самой крепкой, и даже в эмиграции был создан «Союз пажей».

В начале века девятнадцатого пажи прославились обществом «квилков» (до сих пор неизвестно происхождение названия), которое возглавил паж А.Н. Креницын, в котором участвовал и поэт Боратынский, печальная участь которого после одной проделки известна. Креницын, кстати, тоже был поэтом, к нему обращены стихи Боратынского.

Именно общество квилков произвело настоящий бунт в 1820 году. Как это произошло? Во время одного из занятий паж Павел Арсеньев читал постороннюю книгу, учитель заметил это, сделал замечание, паж ответил дерзостью, поднялся шум, инспектор К.О. Оде-де-Сюон приказал стать пажу в угол, тот не послушался, инспектор приказал стать ему на колени, тот продолжал дерзить, был арестован. Было решено наказать Арсеньева розгами перед строем, но он был вызволен пажами-квилками. Об этом узнал император Александр Павлович, Арсеньева от наказания освободили, а пажа Креницына как раз высекли. После этого их двоих разжаловали в рядовые и направили в полк. Арсеньев застрелился, а Креницын все же получил обер-офицерские эполеты. Разве нет и тут связи между этим бунтом и бунтом лицейстов, в том числе и Пушкина против Мартина Пилецкого-Урбановича, закончившегося как раз победой юности над реакцией и косностью?

Паж Саша Пушкин не был бунтарем, он хорошо учился и изрядно вел себя. Он пользовался любовью своих товарищей, был на хорошем счету у преподавателей и корпусного начальства.

В его пажеское время директорами корпуса были последовательно генералы Николай Васильевич Зиновьев и Николай Илларионович Философов.

Наталья Николаевна была довольна своим сыном Сашей. В одном из своих писем летом 1849 года она писала: «...я поехала в Пажеский корпус и была бесконечно счастлива узнать, что Саша сегодня утром был объявлен одним из лучших учеников по поведению и учению, что Философов и Ортенберг очень его хвалили в присутствии всех пажей».

Но время учения завершилось, и Александр Александрович Пушкин в 1851 году был выпущен из корпуса корнетом в лейб-гвардии Конный полк.

# Сад

Стихотворение в прозе

Олег АЛЕШИН

Эпиграф

Анна Ахматова

*Я к розам хочу, в тот единственный сад,  
Где лучшая в мире стоит из оград,  
Где статуи помнят меня молодой,  
А я их под невскою помню водой.  
В душистой тиши  
между царственных лип  
Мне мачт корабельных мерещится скрип.  
И лебедь, как прежде, плывет сквозь века,  
Любуясь красой своего двойника.  
И замертво спят сотни тысяч шагов  
Врагов и друзей, друзей и врагов.  
А шествию теней не видно конца  
От вазы гранитной до двери дворца.  
Там шепчутся белые ночи мои  
О чьей-то высокой и тайной любви.  
И все перламутром и яшмой горит,  
Но света источник таинственно скрыт.*

Надежда ЗОЛОТУХИНА

Когда в памяти прокручиваю назад, как киноленту, свою жизнь, понимаю, что это уже хроника. В основном черно-белая, серая с редкими яркими вкраплениями, но все же преобладающий цвет — как в фильме до появления красок. Иногда события убабляются, бегут, как в кинематографе до первой Великой, иногда плывут медленно-медленно; то моя пленка рвется, и тогда в душе все хрипит и клокочет, звуки разные: то громкие, бодрые, то шепот, то плач, то неумелая песня, то Вагнер, и часто — просто нудное шипение черной кинопленки. И это — вся моя жизнь? Хочется плача рассмеяться, завгть одной в поле, поиронизировать над своей пошлостью, зло пожалеть себя и сказать: ну и что. Ничего особенного не происходит, все по закону времени. Когда-то и я брела по песчаной земле Иудей, царапала ноги колючками; сандалии были совсем открытые, и сухой ветер раздувал, как парус, мое свободное платье, красное, или пурпуровое, или коралловое — я

это точно помню. И волосы у меня тогда были темно-каштановые, и кожа тонкая и нежная, как отбеленный древнеегипетский холст, и синие, большие, совсем наивные глаза. И тогда я ничего не знала, как, впрочем, и теперь. Я шла с людьми, разными: старыми, молодыми, детьми, воинами, торговцами, философами и шутами. Куда мы все брели? Куда теперь идем? Солнце вставало и уходило, одна луна сменяла другую, возникали и рушились города, рождались дети, одни предавали других, лилась кровь; как пожар, горела любовь.

У меня, той, Назаретской эпохи, она, наверное, тоже была. Первая. Дикая. Глупая. Святая. И он был, иудей, с глазами, как спелые маслины, не знающий жизни и ее жестоких правил, но смелый и счастливый. От молодости, от свободы, от ласковой морской волны, от моего взгляда, от соприкосновения рук. Мы смотрели друг на друга как на чудо света. Мы открывали в себе то, что нельзя было описать никакими словами, что только ощущалось как легкое дуновение нежного ветерка... Это было сказочное тепло, идущее от жемчужины, лежащей на ладони, которая только увидела свет. Она еще влажная, трепещущая, целомудренная, но уже чей-то взор сочинил умысел ее присвоить. И это было всегда. И это будет всегда.

Наверное, мы, взявшись за руки и смеясь от полноты бытия, бежали в Гефсиманский сад и там сидели, прижавшись друг к другу, под серебристой оливой. Был полдень, солнце стояло посередине неба, листья давали тень. Мы находились в Вечности. Вдали прошел отряд римской стражи, пробежала стайка мальчишек, две никому не принадлежащие собаки расположились недалеко от нас.

Я помню запах этих минут. Я помню свое тонкое запястье и даже голубые прожилки на нем. Его звали Барух. А может, и Лазарь. Или Авессалом. Но это было.

Моя любимая скамья  
В несуществующем саду.  
Давно уже не молод я,  
Хотя зачем иметь ввиду  
Значенье возраста, когда  
Живешь лишь ощущеньем сна?  
Реальность сумраку чужда,  
Моя скамья, увы, тесна.  
Но места хватит для двоих  
Под старым дубом, где затих  
Фонтан у ног менад босых,  
Искусство скуки он постиг,  
Когда сидел я на скамье  
И гладил мраморного льва,  
От воздуха стихов Ренье  
Чуть разболелась голова.  
Я никудышный садовод,  
Пустил дела на самотёк.  
Плюща беспечный хоровод —  
Ленотра строгого упрёк.  
Но что поделает? Мне милей  
Стволов заросших теснота  
Прохладных липовых аллей,  
Где торжествует бледнота  
Насельников теней — скульптур.  
Они печальны и наги  
(Удел возвышенных натур)  
Тревожат их покой шаги.  
Мне этот шорох незнаком,  
Пронизывающий насквозь  
Мой мирный сад. Кому пешком  
Дойти сюда вдруг довелось?  
Чей шелест в глубине аллей  
Напомнил мне печаль страниц  
Новозаветных рыбаей,  
Бездомность перелетных птиц?  
Кто оживил мой Элизей  
Несрочным шагом в светлый час,  
Когда не нужно ни друзей,  
Ни посторонних чьих-то глаз?  
Нет, не из прошлого тот хруст  
И не из будущих времён.  
И ты, как в детстве, полон чувств,  
И кем-то страха отчуждён.  
Как будто осень в первый раз  
Здесь обронила робкий лист.  
Живу среди старинных фраз  
И потому беспечно чист  
Для понимания шагов  
Того, кто ищет тень отца  
«У нескудеющих ручьёв»  
В накидке пыльной пришельца.



ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

## «Делай, что должен, и будь что будет!»

В античности поэзия рассматривалась как один из видов музыки. И это вполне закономерно. Ритмически построенная речь, наложенная на интонацию человеческого голоса, воспринималась как музыка, а не как декламация.

С появлением письменности отпала необходимость в эвфонии, то есть в звуковой организации текста стиха. А сегодня, в эпоху постмодерновой парадигмы, некоторые стихи на слух почти не воспринимаются, а требуют внимательного вчитывания, настолько плотен ассоциативный ряд, поэтому необходимо какое-то время на расшифровку его смыслов. Чтение стало, по сути, сугубо индивидуальным занятием, когда книга и читатель дрейфуют уединения, а не театрального действия. Истинный писатель постмодерна в идеале сочиняет для своего Alter ego, он меньше всего озабочен популярностью. Еще Артего-и-Гассет заметил, что сверхнепопулярное искусство имеет настоящую ценность, в отличие от культуры «массы», которая сформировалась в Европе XIX веке. «Масса» никогда не будет глубоко погружаться в произведение искусства, изучать его многомерность.

Но Россия — страна, которая не прошла линейный западноевропейский путь развития, хотя были попытки на разных этапах встроиться в определенную парадигму, но почти всегда с некоторым опозданием, зачастую просто в форме внешнего подражания. Средние века в России — это эпоха «великого молчания», Возрождения в России вообще не было, а барокко, романтизм и другие формы культуры затронули лишь небольшую образованную часть населения.

И сегодня в отечественной литературе отмечается некий дуализм. Это не удивительно. Некоторые села в нашей стране до сегодняшнего дня еще не газифицированы, но при этом в России создается сверхуникальное оружие, основанное на труднообъяснимых физических явлениях. Все взаимосвязано. Поэтому с одной стороны мы наблюдаем высокоинтеллектуальную литературу, основанную на коннотации, то есть на вариативности смыслов, с другой — продолжение фольклорных традиций, где доминируют форма безыскусственного языка, а также мифологемы дохристианской Руси.

В этом смысле примечательно творчество Степана Писахова и Бориса Шергина, основанное на древней фольклорной традиции Русского Севера. В поэзии народный песенный лад ярко проявился у Николая Тряпкина.

В Тамбовской области Александр Акулинин «говорил» народным языком, исходя именно из этимологии слова, а не из сложных синтаксических конструкций, присущих авторам литературы модерна.

Сегодня активно работает в фольклорном жанре Елена Чистякова.

Необходимо помнить, что фольклор возник задолго до появления письменности, он не мыслим без устного народного творчества. Поэтому сказы Елены Чистяковой воспринимаются лучше на слух, когда слышится некая музыка, о чем мы говорили в начале

статьи. В этом природная ценность и уникальность её сказов. Парадокс в том, что письменность как путь для Елены Чистяковой. Не знаю, дает ли писатель в этом себе отчет или нет? Былины, сказки, распевы, причитания и так далее, зафиксированные на бумаге, сразу же превращаются в мертвый жанр. Конечно, это помогает хоть как-то законсервировать язык и миф, но не более того. Исчезло главное — живая музыка голоса. А музыка, по мнению философа Алексея Федоровича Лосева, — это чистое выражение смысла. То есть человеческая речь, точнее, авторская интонация рассказчика, помимо банального бытового содержания, передает ещё нечто, что можно назвать колыбельной песней народного самосознания. Все же в России слово — «народ» до сегодняшнего дня имеет оттенки сакрального смысла, в отличие от понятия «массы», которое ввел Ортега-и-Гассет. Народность — это высшее проявление национального гения. Отсюда берет начало классическая литература, которая немислима, простите, без идейности, поиска истины не для отдельной личности, а общности.

Поэт Юрий Кузнецов как-то заметил: «Если матери перестанут петь своим детям колыбельные песни, то это будет означать начало конца света». Конечно, под «концом света» он подразумевал разрушение национальных кодов — мифологии.

Колыбельная песня — это выражение судьбы. О ней поёт мать, склонившись над зыбкой своего ребенка, который пока еще находится в подвешенном неопределенном положении или состоянии: между небом и землей. Младенец еще не способен понять смысл «незамысловатой» песни, для него важны голос матери, её неповторимая интонация. Мне иногда кажется, что именно в таком положении и находится современная русская литература.

Поэтому в сказках Елены Чистяковой первична именно музыка безыскусственного языка, которая погружает слушателя в колыбель «поэтических воззрений славян на природу».

Елена Чистякова, несомненно, имеет дар языковой интуиции или врожденное чувство языка, что весьма редкое сегодня явление. Южнорусский диалект — её родная стихия, где она максимально раскрывает свой потенциал как писатель.

Елена Чистякова — не стилизатор, фольклор для неё — не отжившие предания старины глубокой, это способ жизни в творчестве. Что ценно.

Но современные дети уже с трудом понимают Пушкина, который любил расширить свой литературный словарь диалектами. Еще сложнее понять «сумрачным детям» сказы Елены Чистяковой. Парадокс в том, что фольклор также приобретает черты «элитарного» чтения со словарем. Тенденция такова, что четверть слов из словаря Даля уже не употребляется в разговорной речи. Вымирают и села в средней России, где сосредоточен основной не читатель, а, повторюсь, слушатель Елены Чистяковой. Хотя приблизительно сорок процентов населения, например, в Тамбовской области, — всё ещё сельские жители.



Скульптор Виктор Остриков создал по мотивам поэмы Елены Чистяковой образ женщины-сосны

Вместе с тем в последнее время появилось много клубов, объединений, творческих коллективов, где изучают славянские традиции, язык. Интерес к прошлому был и будет всегда. При этом не хочется излучать глуповатый оптимизм. Можно, конечно, «глубокомысленно» заявить, что государство должно поддерживать народные формы творчества и прочее, но существуют объективные процессы, которые уже невозможно повернуть куда-то вспять. Да и нужно ли вообще?

Хочется закончить всем известной фразой Марка Аврелия: «Делай, что должен, и будь что будет!»

Олег АЛЁШИН

### Кстати

Недавно вышла четвертая книга Елены Чистяковой из серии «Сказы деда Савватая». Сегодня мы предлагаем нашим читателям один из новых сказов этого самобытного писателя и рассказчицы.

# ЗАСТУКАЛ

Вот бывают мужики, любители рубить с плеча. Нет, это не про силу в руках, а про силу в голове, про мудрость это или её отсутствие.

У нас в соседстве, в селе нашем, жила парочка одна, супруги Мышатины, Нюра да Тимофей Иванович. Он постарше от бабы своей годов на десять. Мужик обстоятельный, хозяйственный, домовитый, так можно сказать. Работал приёмщиком молока на ферме, а Нюрка Мышатины — дояркою, посменно.

Вот как-то зимою, помню, намело снегу страсть как много. Едешь по санному пути или грейдерной дорожкой, а по сторонам гребни из снега такие, что не видать, куда и едешь, избу свою проскочишь, точно.

Именно в один из зимних дней и шепнули бабы на ферме Тимофею Ивановичу, что к Нюрке его хахаль пожаловал.

Взвился на дыбки Мышатины, в розвальни и до избы припустил. Морда полыхает багровая, сердце стучает, аж взмокрел весь от нервов.

— Убью гадов! — решил.

Однако пока ехал, поостыл, мозги в порядок привёл и мудрость всплыла, поверх злости его.

Ведь говорят же: на всякую глупость ум найдётся.

— Ну, и чаво дальше, — думал, рассуждал Тимофей Иванович, — ну прикокаю я их, не смеять сумеваться, а потом в тюрьму штоля? Никакого резону нету! Надоть как-та исхитриться, штоба и овца цела была и волк дорогу позабыл в мою овчарню.

С таким-то настроением подкатил к своему крыльцу.

А Нюрка, баба смазливая, крученая, уж хвост свой распушила пред молодым развратителем, Митькой Блукаевым, из соседнего села. Это у них первая видать встреча была. Знала изменщица, что Тимофея Ивановича часа три дома не будет. Кой примет молоко, кой оформит документы, всё можно успеть, то есть удовольствие справить.

Митька оставил лошадь с санями, чтобы не привлекать внимание, далеко от хаты зазнобы, привязал на другом порядке у дома тётки своей. Согнулся слегка, вроде не видать его из-за снежного гребня, и почапал к Нюрке, да в селе и ночью даже все всё про всех ведают, не взял он это в расчёт.

Только они принялись лобызаться, тискаться да накручивать, распалить себя для решительных действий, как отчётливо под окнами, будто гром зимою:

— Тпру-у-у! Тпру-у-у!

— Чавой-та, чавой-та эта? — всполошился Митька.

— Ой, ёй, ёй, ёй, Тимофей Ива-а-аныч, — аж присела Нюрка, ползком с перепугу добралась до замороженного окошка, приложила распалённый от страха палец и враз оттаяла крошечный

глазок. Взглянула и села на пол.

— Сам припёрси! Какова рожна-та, в толк не приму!

— А мене-та, — заметался, сгребая вялыми со страху ногами половики, Митька, — куды лезть мене-та, иде скрыгься-та?

Нюрка, точно курица, хлопала ладошами себя по крутым бёдрам, потела сильно и кудахтала:

— Пряма ня знай, пряма ня знай куды! Можка в подполье? Не-е-е! Кой половячки сгрябу, кой отворю да посла выправлю тут, он табе прикокайт, Митёк.

— Ну и гадюка ж ты, Нюрка, — сжав клацающие со страху зубы, процедил любовник, — подвяла мене под зикуцию, тварь.

— А я-та сама-та, думаешь, не боюся вовсе, да? — прошипела Нюрка, слыша, как Тимофей Иванович не спеша обметает голышом снег с валенок на крыльце.

— Давай на чердак, пересяди тама. Он чаво-та видать забыл, взять хочить и вскорости умятётся, полагаю.

Живо похватав полушубок и малахай, выскочили они в холодные сени, мухой Митька взлетел по лесенке, приставленной к срубам на чердак, прошуршав сеном, рухнул, прислонясь к тёплому боку трубы спиною, затих.

Только Нюрка взялась открывать дверь, норовя быстрее войти в тепло, как, лязгнув железною щеколдою, распахнулась входная, уличная дверь и ввалился в тулупе пыхтящий и громко сопящий муж — Тимофей Иванович Мышатины.

— Ты чаво тут? — пробасил он не глядя на жену, — иди в хату, простынишь, гляди.

— Так я услышала, будта хтой-та к нам припёрси, аль, думаю почудилось, — нарочито медленно и вяло протянула жена, — чаво случилось, аль поисть наконец-та схотелось? То не допросиши табе приехать щец похлябать, а то, в такую-та завяруху, — здрасти-пожалти, прикатил!

Она игриво ткнула Тимофея Ивановича кулачком в бок. Он ещё пуце поверил в то, что баба его скрывает что-то. Уж больно необычно себя ведёт, заигрывает с ним.

Вошли в избу. Табуретки сдвинуты, половики скучены.

— Чаво тут было, пляски штоль? — спросил, будто не понимая, муж.

— Ой, а хотя ба и пляски, чаво нельзя? А коли хотца? — крутнулась, вильнув задом, Нюрка.

— Да-а-а, када хотца, да неймёца, эта хужея, чем болить, к примеру, — с явным глубоким намёком, подтвердил супруг, — можна, чаво ж нельзя. Тока осторожна, а то в этих танцах, гляди, в половичках запутаисси и морду в кровь расшабёшь, поди.

— Да эта я шуткую об танцах.

Каки тут танцы, када дел невпроворот, отплясалась я, видать, не молодуха уж.

— Ой ли? — подумал, усмехнувшись про себя Мышатины.

— Картошки в подполье набрать да полы подтяреть, струхнуть половики думала, — пояснила вполне резонно Нюрка и, уже успокаиваясь, позволила себе побурчать, — всё-та табе надоть, эта бабския дяла. Нос, гляди он суёт, куды ня просють.

Стерпел Тимофей Иванович, смолчал на это.

— Я заехал подштанники надеть, холодно ноня, да уж пожалуй и похлябаю щец, коль так вышло. Спяшит ня буду, поди, — сказал муж, краем глаза наблюдая за тем, как Нюрка насторожилась и, облизнув языком подсохшие от волнения губы, нервно передёрнула плечиками.

— А можить, и поваляюся чуток, время терпеть, а можить, и ты к мене под бок подвалиши, а? — нанёс сокрушительный удар по замыслам любовников муж, увидев, как круглое, с пухлыми румяными щёчками лицо жены вытянулось и посерело. Меж тем он, оглядев горницу, заметил, что постель не тронута.

— Эт хорошо, не похабничали, не успели, значить, — отметил про себя Тимофей Иванович, — и иде жа она яво прячить? Горница-та, она жа одна, можка, в подполье? — он несколько раз громко топнул. Нюрка не среагировала.

— Не-е-е! Значить в другой месте!

На стол жена-блудница поставила миску со щами, ломти хлеба на рушнике да плошку со сметаной.

— Чаво щец мало так плянула, сыпь давай, да погущее, — потребовал муж, а сам подумал, что норовит его Нюрка быстрее вытолкать за порог. Мол, быстро схлебает и уметётся.

Он не спеша зажёб полную ложку густой сметаны и неторопливо размешал в щях. Расправив усы, пригладил окладистую бороду, подставив лопоту хлеба снизу, чтобы не капало, отправил, гулко втянув, щи в рот.

Вдруг над головою, где-то за потолком, послышался сначала невнятный шорох, а следом отчётливая возня. Это затёкшие ноги замеревшего там Митьки Блукаева сводило судорогой, покалывало иглками будто, и нестерпимо выкручивало. Он уж терпел-терпел, да завозился, давя стон, зажав рукою рот. Холодно было, и пленник понял, что влип и влип основательно.

Тимофей Иванович вопросительно глянул на жену, мол, что за звук? Она как бы в раздумье проговорила:

— Голуби, поди, под стрехой, аль кошка.

— Не похоже. У кошки лапы мягкия, ходит тихо, а ето домовый поди, аль овинник завёлся. Вот жа наглая морда, среди бела дня шабуршит. Счас поем

да полезу отхожу вона чапельником, — откусив хлеб, с полным ртом невнятно пообещал муж, но Нюрка услышала всё до единого слова и побелела, точно печка, возле которой она прижукла.

— Табе надо с нечестью возиться, аль дялов боля нету, аль ферма не ждётся? — быстро выкрикнула, желая отговорить мужа, Нюрка.

Тимофей Иванович на это промолчал, как бы размышляя, надо ему это или нет. А вот уж когда неспешно доел щи да выхлебал неторопливо кружку студёной водицы, как всегда и делал, да поддел исподнее, тёплые кальсоны, надо, коль говорил о них, то выйдя в сени в сопровождении жены и бросив взгляд в чрево чердака, громко проговорил, чеканя каждое слово:

— И то верна, накай мене надоть эта? Бить дурака — жаль кулака. Главно, дорогуя сваю жану уберець. А то я за порог, а он, овинник етот, скатица с чердака, да использовать бабута мою, — выдал Тимофей Иванович. И шкурой почуял, что и жена, и чердачный сиделец напряглись.

— Я лучшая лесенку приму, пуцай покорячица, гад. Высоко, поди, прыгнуть капыты сломанть, — продолжил он, — а уж вечарком возвярнуся, влезу туды и вломлю. Коль не исчезнить нечесть — роги яму пообломаю и хвост выдьяру со всеми причандалами. Он жа у яво не как у чёрта сзади висить, а как раз наоборот — сперяди болтаица. Пуцай пока што думанть — оставаться в нашей избе аль прытко уносить капыты.

Вышел Тимофей Иванович, завалился в розвальни и, похажывая в усы поехал на ферму, в душе радуясь, что не навредил себе и жену предупредил от блуда.

Да ежели она и надумает когда, то избу их теперь будут обходить десятой дорогой гульвивые мужики. И хоть Митька промолчит о своём позоре, да в селе не скроешь. Все всё про всех, всегда знают. Уж будьте уверены!

Елена ЧИСТЯКОВА



# Глазков в Тамбове



Николай Глазков выступает в кинотеатре "Спутник" (в настоящее время Молодёжный театр). Фото братьев Ладыгиных. Из коллекции Дмитрия Гнатюка.



Николай Глазков и Алексей Ладыгин. Фото братьев Ладыгиных. Из коллекции Дмитрия Гнатюка.

**Рассказ-  
газета**

Отпечатано в типографии  
ОП «ТТ «Пролетарский  
светоч» АО «Издательский дом  
«Мичуринск». Адрес: 392000,  
Тамбов, Моршанское шоссе, 14

Тираж 999 экземпляров.  
Заказ №403  
Распространяется бесплатно.  
Точка зрения редакции может  
не совпадать с мнением авторов  
статей.

Редактор О.В. АЛЁШИН  
Телефон: 8 953 718 1322  
Вёрстка Э.Н. Землянский